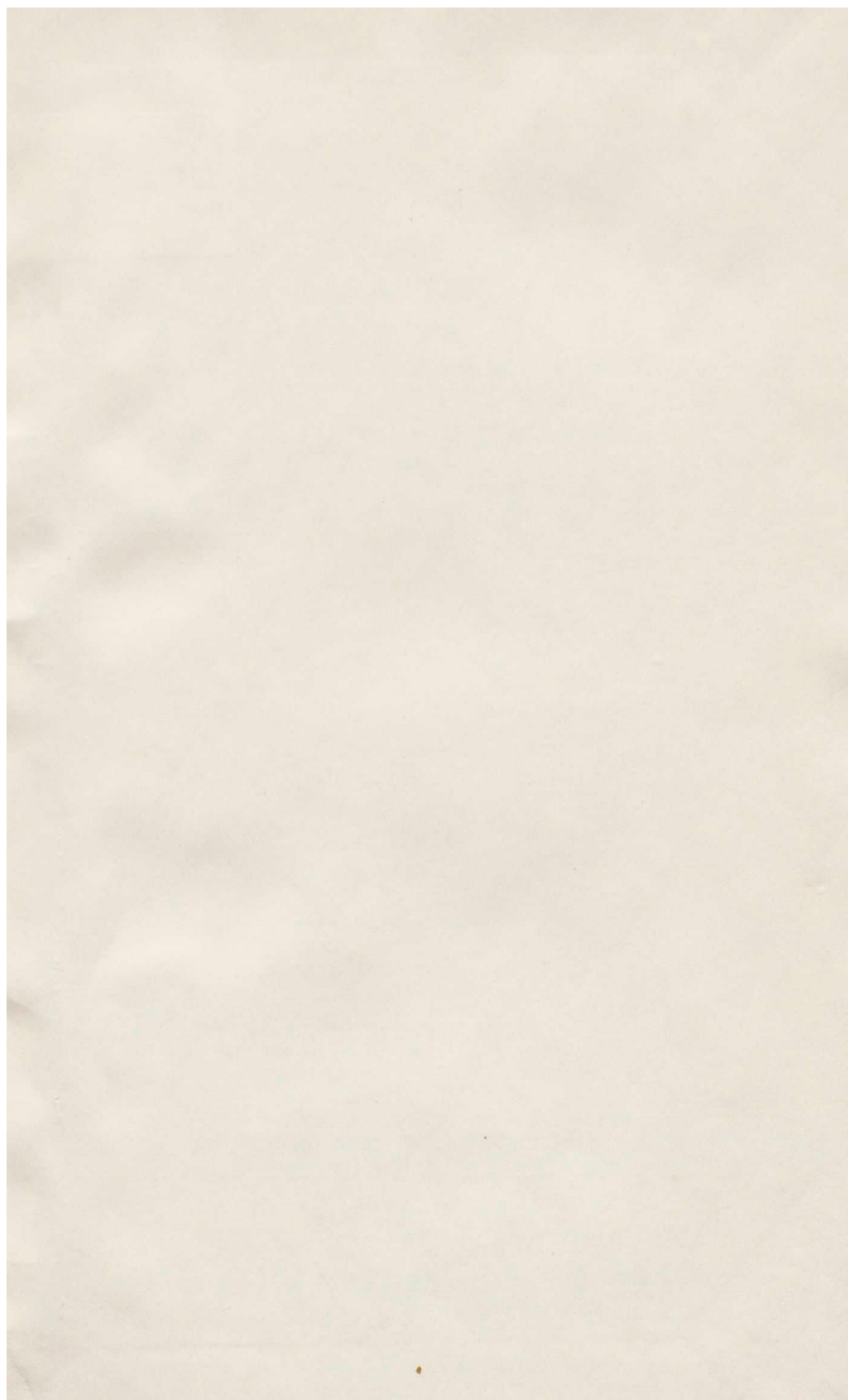
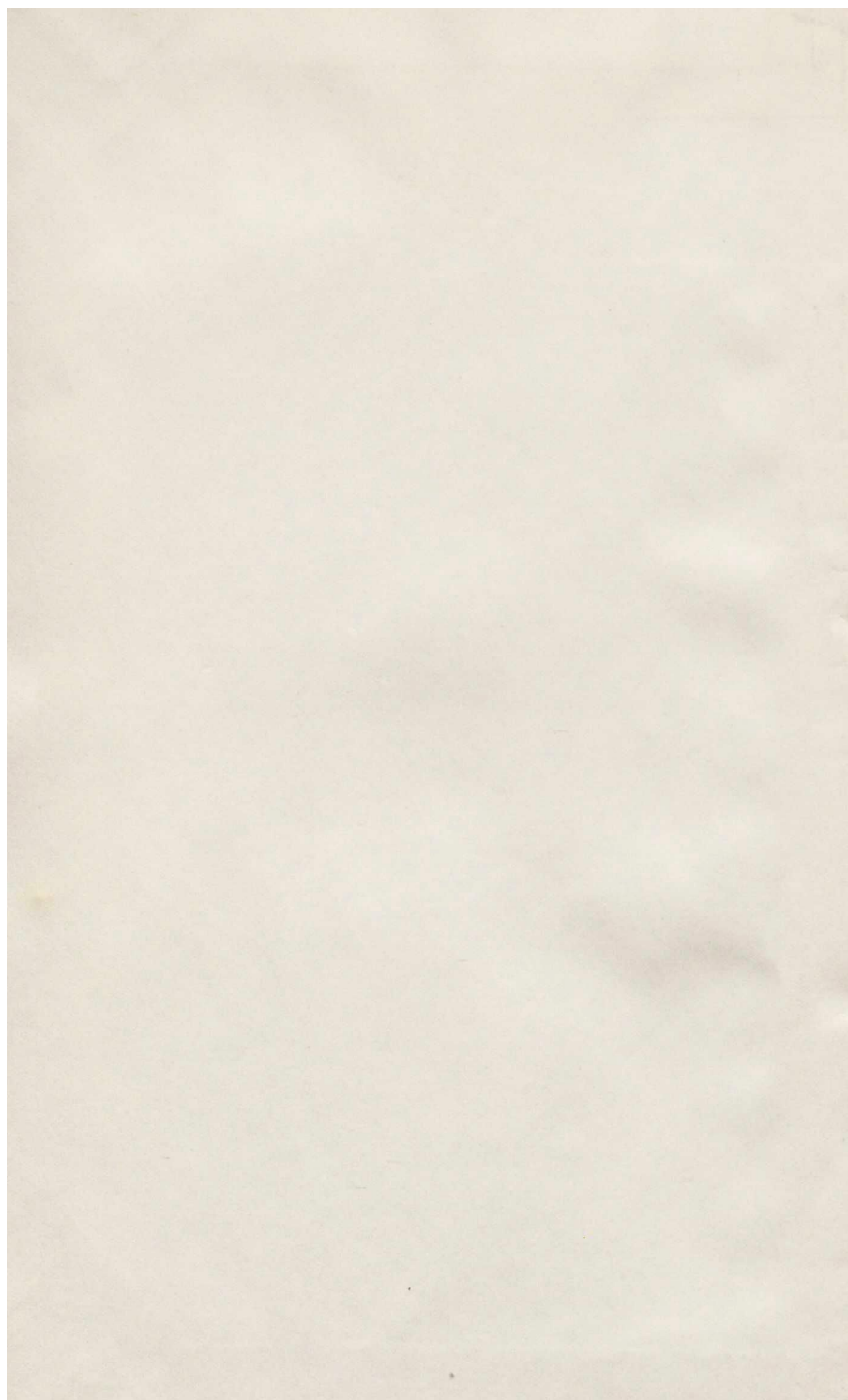


$$\begin{array}{r} D \quad 3 - 2 \\ \hline \text{loc} \quad 4 - 466 \end{array}$$







Я. ДОНЦОВЪ (ФЕДОРОВЪ)

Д 3-2
ос 4-466

3-2
4-466

ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТЬ

Переживанія

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ШКОЛА ЖИЗНИ»
— В. Ф. БУТЛЕРА. —
КАУНАСЪ (ЛИТВА)

Отъ издательства.

Издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ ставитъ своей задачей дать читателю по возможно доступной цѣнѣ здоровую, серьезную, морально-воспитательную и въ то же время захватывающую интересомъ литературу.

Одна изъ очередныхъ задачъ издательства „ШКОЛА ЖИЗНИ“ — объединять живую литературную силу и давать авторамъ возможность печатать свои произведенія при минимальныхъ затратахъ въ безукоризненномъ видѣ, обращая серьезное вниманіе какъ на техническую сторону издаваемыхъ книгъ, такъ и корректуру ихъ.

Для достиженія этого издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ считаетъ необходимымъ условіемъ имѣть живую и интересную литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей. Поэтому издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ старается выбирать только такую литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей. Поэтому издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ старается выбирать только такую литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей.

Издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ старается выбирать только такую литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей. Поэтому издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ старается выбирать только такую литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей. Поэтому издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ старается выбирать только такую литературу, которая бы могла быть доступна для широкаго круга читателей.

По

дней

РЗ
Рис.
Т
Рос 3-2
4-466
ЯКОВЪ ДОНЦОВЪ (ФЕДОРОВЪ)

Т Я Ж Е Л Ы Й КРЕСТЪ

ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРАДАЛЬЦА У БѢЛЫХЪ, У
КРАСНЫХЪ И ЗА РУБЕЖОМЪ ОТЕЧЕСТВА.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ШКОЛА ЖИЗНИ“
В. О. БУТЛЕРА
Каунасъ (Литва)
1932 годъ

Отдел литературы
русского зарубежья

Дар Словянской
Б-ки Рехио

отделу литературы
РУССКО ЗАРУБЕЖЬЯ
Российской Академии наук
библиотеки

Всѣ права сохранены за авторомъ

Alle Rechte vorbehalten.

*Tous les droits pour tous les pays sont
réservés par l'auteur.*

Copyright by the author.

Российская
Государственная
библиотека

и 3556-05

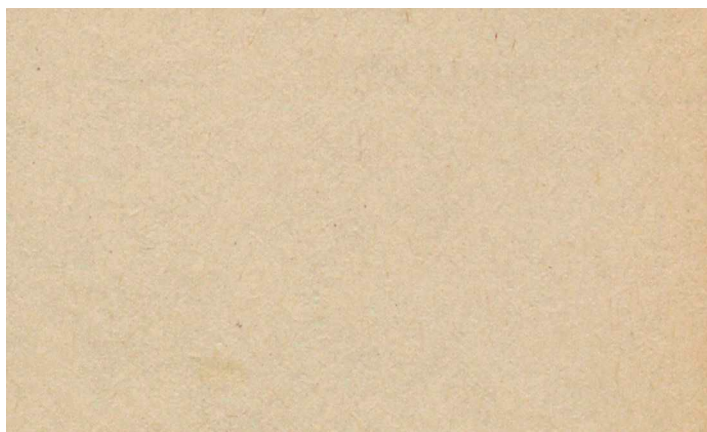
Печатано въ типографіи „STARS“, Латвія, Рига, Ключевая 33



2005010681

КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных								
Выпуск								
В перепл. един. соедин. №№ вып.								
Таблиц								
Карт								
Иллюстр.								
Служебн. №№	1							
№№ списка и порядковый	59							
200	65							6



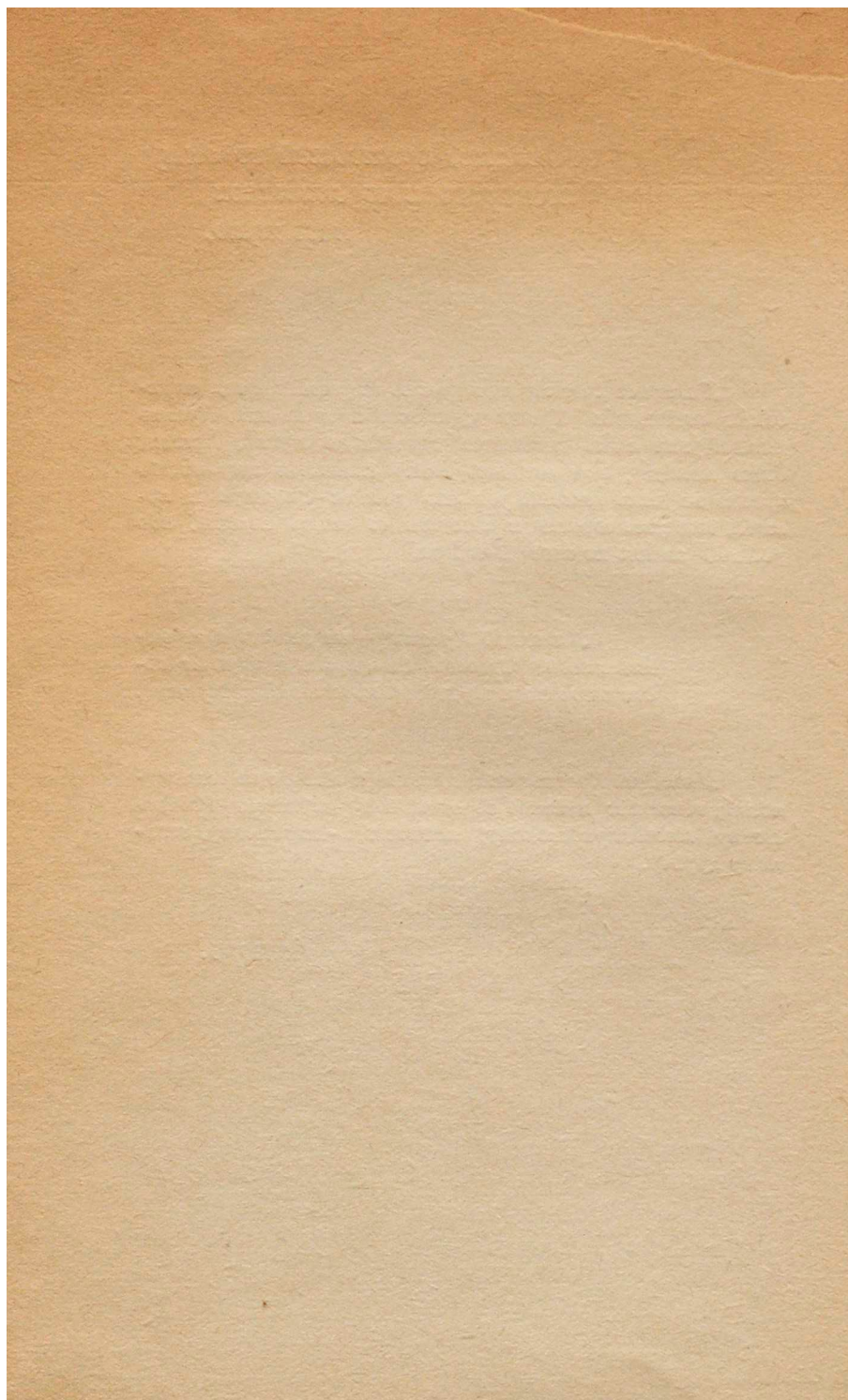
*Юности, прошедшей въ дыму
пожаровъ и въ скитаньи,
посвящаю,*

„Тяжелый крестъ“ это крестъ жертвенности, страданий, испытанія. Крестъ сомнѣній и колебаній. Крестъ пятнадцати лѣтъ сплошного горькаго и муки... Крестъ, быть можетъ, еще многихъ лѣтъ скитанья за границей, крестъ жгучихъ желаній увидать родныя станицы и хутора, втянуть горькій и вмѣстѣ съ тѣмъ сладкій, ибо родной, запахъ полыни и чобора.

„Тяжелый Крестъ“ — не романъ и не вымышленные рассказы. Это крикъ сердца, не видавшаго юности, ушедшей навсегда, безвозвратно.

„Тяжелый Крестъ“ есть призывъ и мольба къ солидарности, единенію; призывъ къ активному служенію Родинѣ своему многострадальному, непонятно - странному, великому народу.

Авторъ.

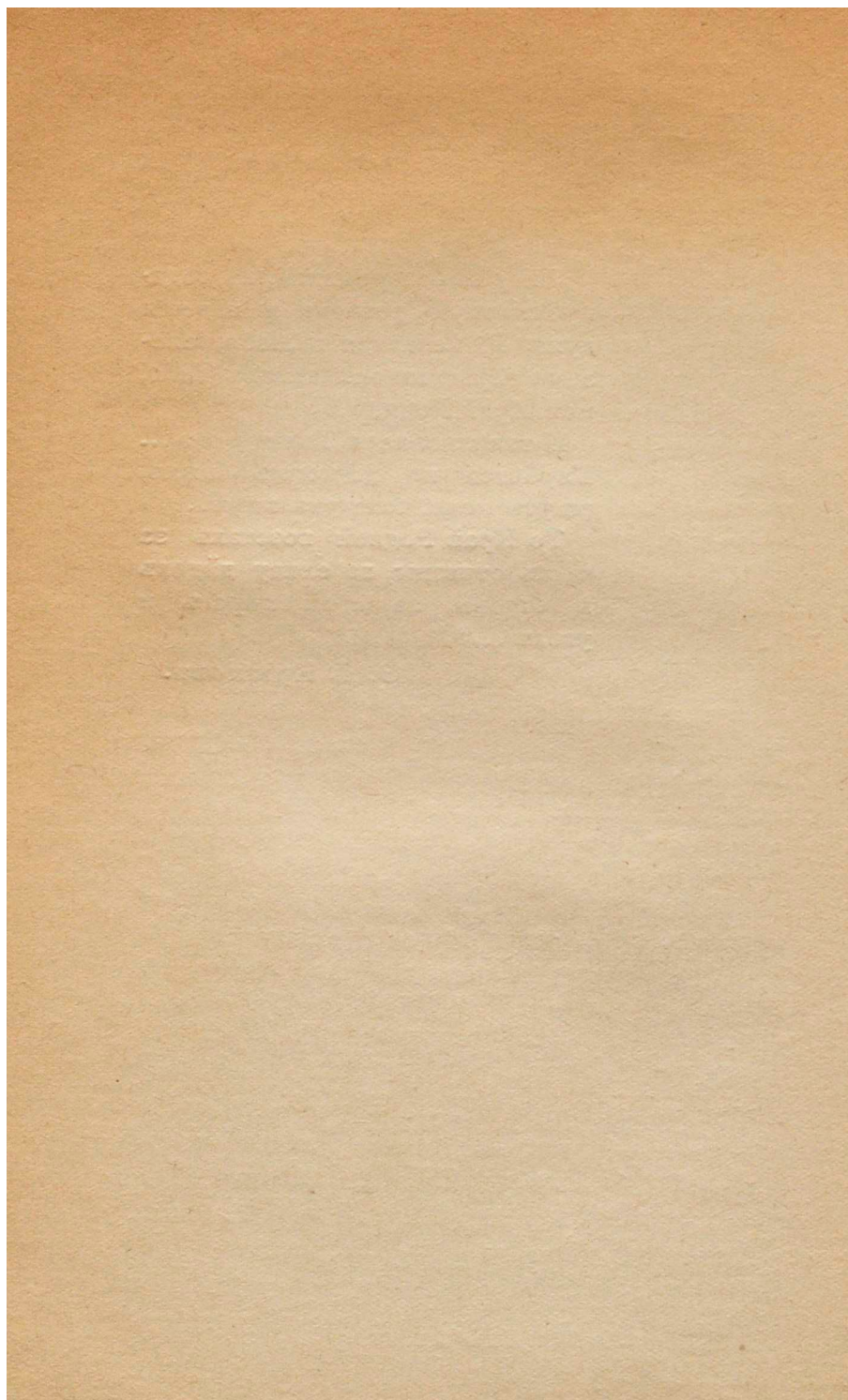


„Во дни безвременья, въ годину смутную развала и паденія духа, я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивалъ Тебя, мой Край Родной...

И взволновался Тихій Донъ...
Клубится по дорогамъ пыль,
ржутъ кони, блещутъ пики...

То Край Родной возсталъ за честь отчизны, за славу дѣдовъ и отцовъ, за свой порогъ и уголь..."

Ө. Д. Крюковъ.



ПРОЛОГЪ.

Въ „Эмигрантскомъ Домѣ“, какъ всегда, вечерами по воскресеньямъ шумно и много накурено.

Старики сюда собираются вспоминать о быломъ, ушедшемъ въ прошлое навѣрно навсегда; посмаковать то, какъ они вернутся на Родину къ своимъ праѣдовскимъ липамъ, какъ будутъ они возстанавливать величіе прежней Россіи...

И какъ всегда, когда вопросъ касается формъ правленія въ будущей, новой Россіи, начинается споръ, споръ до истерики, чуть не до драки...

Молодежь также не чурается „Эмигрантскаго Дома“. Но приходитъ она не для диспутовъ, не для споровъ со стариками. Молодежь приходитъ сюда попѣть и въ пѣсняхъ про Россію отдохнуть отъ дневной тяжелой работы; узнать, что творится на свѣтѣ, а главное,—но объ этомъ можно лишь только догадываться,—получить директивы отъ своего представителя, своего „Зарубежнаго Молодого“ центра. Поэтому собираются они попозже, къ концу словопреній, къ концу дикаго и вмѣстѣ съ тѣмъ красиваго самообмана старшаго, уходящаго въ преданіе, поколѣнія...

.

Пренія окончились. Понемногу стали стихать и страсти. Чувствовалась общая усталость, не-

удовлетворенность, тоска. Старики устали отъ
безплодныхъ споровъ. Миражъ разсѣивался и
снова, какъ всегда, какъ вчера, какъ десять лѣтъ
назадъ, люди неизмѣнно возвращались къ раз-
битому корыту. Россія оставалась далекой, дале-
кой, недосыгаемой мечтой...

И вотъ тоска выливается въ пѣсню. Въ ней
человѣкъ находитъ успокоеніе. Отдыхаетъ устав-
шая, изстрадавшаяся душа...

Ве-чер-ній звонъ,
Ве-чер-ній звонъ,
Какъ мно-го думъ
На-во-дитъ онъ...

Сочнымъ и красивымъ баритономъ начи-
наетъ запѣвало. И подъ аккомпаниментъ осталь-
ныхъ, почти всѣхъ присутствующихъ, имитирую-
щихъ перезвонъ колоколовъ, полилась пѣсня...
Пѣсня о юныхъ дняхъ въ краю родномъ, про от-
чій домъ, про первую любовь... Вспомнилась Ро-
дина, Родимый Край...

Вставала картина.

Какъ съ ней простясь,
Тамъ слышалъ звонъ
Въ послѣдній разъ...

.

И нѣтъ ужъ ихъ
Теперь въ живыхъ,
Тогда веселыхъ, молодыхъ...

Пѣсня кончилась. Но пѣть хотѣлось еще и
еще.

— Глѣбъ Петровичъ! „Однозвучно звенить
колокольчикъ“, — предложилъ спѣть кто-то изъ
присутствовавшихъ.

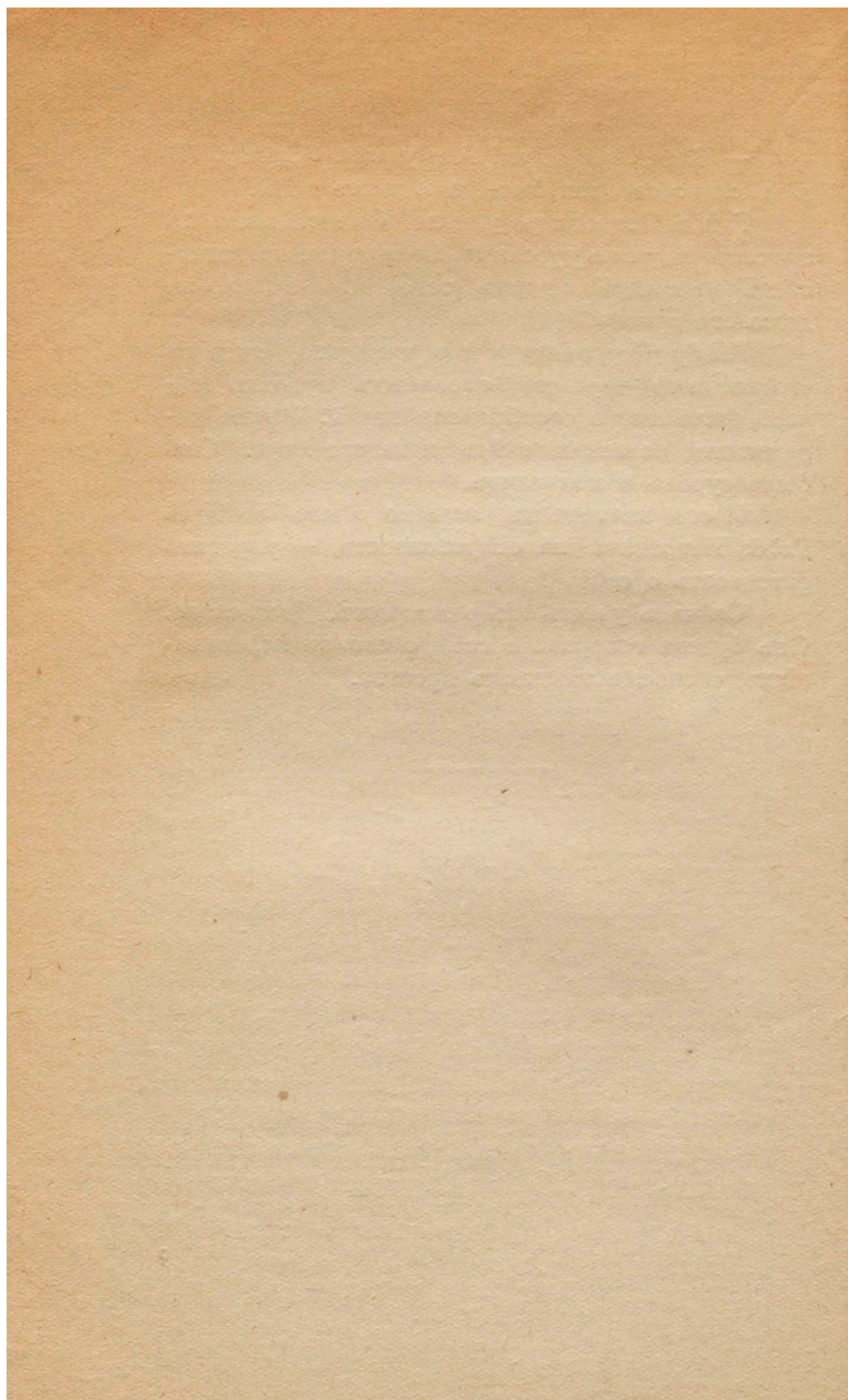
— Вася, заводи ты! А я ухожу. Спѣшу. Я
далъ слово сегодня быть въ одномъ домѣ.

Глѣбъ Петровичъ ушелъ. Онъ спѣшилъ къ
знакомымъ, тоже русскимъ людямъ, но не выдав-
шимъ и не пережившимъ того, что выпало на
долю его самого.

Глѣбу Петровичу было тридцать, хотя въ
его когда-то черныхъ, смоляныхъ кудряхъ сей-
часъ было много серебряныхъ нитей. Печать пе-
режитого оставила слѣдъ и на его лицѣ. Онъ
былъ суровъ и молчаливъ.

И его знакомымъ нелегко было вызвать
Глѣба Петровича на откровенность, — упросить
разсказать о себѣ.

Сейчасъ у нихъ онъ разскажетъ. Далъ слово.
Онъ будетъ говорить о себѣ, о своихъ пережива-
ніяхъ, о своемъ тяжеломъ крестѣ...



Часть первая.

ВЪ РОДНОМЪ КРАЮ.

— Главная причина, приведшая меня сюда къ вамъ за границу, это—большевизмъ. Поэтому свои рассказы о моемъ прожитомъ я и начну именно съ него,—обратился Глѣбъ Петровичъ къ своимъ знакомымъ и усѣлся поудобнѣе въ кресло. ■

Онъ закурилъ папиросу, затанулся, закрылъ глаза и мысленно, какъ бы раздвинувъ завѣсу прошлаго, началъ:

— Мнѣ шелъ шестнадцатый годъ, а 1917 годъ — годъ начала нашей „Великой и Безкровной Революціи“, былъ на исходѣ. Жизнь шла, какъ будто по прежнему, по хорошему, по старому. Но хорошему, прежнему, старому мѣшало это самое „какъ будто“. Чувствовалась, особенно въ настроеніяхъ старшихъ, какъ у насъ называютъ „стариковъ“, какая то нервность, тоска какая-то, предчувствіе чего-то нехорошаго, жуткаго.

Свѣдѣнія, вѣрнѣе слухи о большевикахъ доходили и до насъ въ станицу, въ хутора. Но кто большевики, что они изъ себя представляютъ, казачество не знало.

— Анчихристъ *) родился, — порѣшили казаки, тѣ казаки, души которыхъ еще не были задѣты этой проклятой заразой.

*) Анчихристъ — въ казачьемъ просторѣчій.

— Анчихристъ пришелъ на землю, — по куренямъ въ часть вечерній, передъ сномъ, предупредая, рассказывали своимъ внучатамъ старики-казаки и, какъ бы ища защиты отъ большевика-сатаны, осѣняли себя и дѣтишекъ твердой, увѣренной рукой, размашисто, крестнымъ знаменіемъ.

Посматривали старики на висящія на стѣнѣхъ прадѣдовскія шашки, срубившія въ свое время не мало басурманскихъ головъ, на этихъ вѣрныхъ, испытанныхъ подругъ казака въ славныхъ и лихихъ конныхъ атакахъ; посматривали на свои мундиры съ серебряными урядничьими и вахмистрскими галунами, на кресты и медали, добытыя въ бояхъ...

— Не посрамимъ казачьей старины, — укладываясь въ постель и осѣняя себя въ послѣдній разъ крестнымъ знаменіемъ, про себя заявляли казаки.

— Вѣстимо, казаки съ Архангеломъ Михайломъ, — съ этой мыслью и засыпалъ казакъ...

Наступилъ 1918 годъ. Предчувствія казаковъ сбывались. Съ каждымъ днемъ, съ каждымъ новымъ эшелономъ прибывающихъ съ фронта казаковъ, а въ особенности солдатъ не казаковъ, зараза проникала въ ихъ организмъ—въ здоровое Донское Казачество. Первыхъ живыхъ большевиковъ казачество увидѣло въ лицѣ своихъ же казаковъ, въ лицѣ своихъ родныхъ сыновей.

Но это еще не былъ большевизмъ. Это были, за малымъ исключеніемъ, тѣ же славные казаки, но изнуренные позиціей, войной.

Большевизмъ несли съ собой—солдаты, кре-

стьяне — „богоносцы“, „сѣяти и кормильцы Русской земли“.

* * *

— Въ началѣ января надъ нашимъ Усть-Медвѣдичскимъ округомъ разразился первый революціонный ударъ. Въ слободѣ Михайловкѣ взбунтовавшаяся солдатня и „хрестьяне“ учинили офицерамъ побоище, какъ сами они называли „вархаламейскую ночь“. Пролилась первая кровь... Сигналъ былъ данъ... Началось...

Разсказчикъ вздохнулъ, умолкъ, втянулъ въ себя нѣсколько полныхъ затяжекъ никотину и снова погрузился въ кровавое прошлое.

— Я лично не былъ свидѣтелемъ этой жестокой, кровавой расправы. Но вотъ что говорили очевидцы: поздно вечеромъ началось это побоище. Озвѣрѣвшіе солдаты врывались въ гостиницы, срывали съ постели спящихъ офицеровъ, выволакивали ихъ на улицу и тамъ сводили „счета“ съ людьми, совершенно незнакомыми, съ молодыми, только что выпущенными изъ школъ прапорщиками. О жестокости, которой сопровождалась эта охота на спящихъ беззащитныхъ людей, я говорить не стану, вы знаете сами изобрѣтательность русскаго мужика на этотъ счетъ. Приведу одинъ лишь маленькій примѣръ: гдѣ-то, на огородѣ подстрѣлили, тяжело ранили офицера. Подняться не можетъ. Бѣдняга просить, умоляетъ прикончить. Поставили охрану, чтобы кто-либо его не взялъ, не внесъ въ помѣщеніе. Долго, всю ночь, холодную, морозную, съ огорода

неслись стоны, просьбы, проклятья истекающего кровью и замерзающего офицера...

* * *

— Въ Усть-Медвѣдицу прибыли матросы агитаторы. Заборы и фасады домовъ по главной Воскресенской улицѣ, точно роща въ листопадъ осенью, расцвѣтились желтыми, изъ оберточной бумаги, плакатами съ призывомъ „товарищей“ на митингъ. Надо было быть въ курсѣ настроеній толпы—пошелъ туда и я. А тамъ, на митингъ, товарищъ матросъ, брызжа слюной и размахивая во всѣ стороны кулаками, громилъ враговъ трудового народа и казачества; поносилъ буржуазію и предавалъ проклятію старый режимъ. Тамъ же на трибунѣ, плюя шелухой сѣмячекъ въ стоявшихъ около гражданъ, находились красногвардейцы — вооруженные арестанты и подонки общества, конечно изъ иногороднихъ, изъ крестьянъ и солдатъ. Казаки были нейтральны. „Мы вѣдь не буржуи, мы трудовое казачество“, думали они.

Обвѣщенные крестъ-накрестъ пулеметными лентами, съ винтовками въ рукахъ, красногвардейцы на мирныхъ гражданъ, никогда не выдавшихъ подобной картины, наводили ужасъ. Совдепъ былъ выбранъ „единогласно“. Голытьба торжествовала. Вѣдь въ данный моментъ они были хозяевами станицы, властью. А власть вѣдь опьяняетъ больше чѣмъ золото и женщины, больше чѣмъ водка. И чувствовалось, что ихъ тупая, звѣриная образина хотятъ потѣшиться кровушкой. Жадно они впивались въ толпу взглядомъ,

стараясь найти въ ней буржуевъ, но буржуевъ здѣсь не было...

* * *

— Началась новая жизнь, по-совѣтски. Митинги, собранія и митинги. Съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе пробуждался въ человѣкѣ звѣрь. Говорили о погромахъ, о войнѣ дворцамъ и помѣщикамъ, о раздѣлѣ казачьей земли. А по вечерамъ, ночью, до самого утра — пьянство, безшабашный разгулъ. Чернь становилась все наглѣе и дерзче...

* * *

— Это было въ Великомъ посту. Въ одинъ далеко не прекрасный вечеръ въ разгулъ повального пьянства, Темка Кружковъ разошелся во всю. Или ему свои возлюбленные уже пріѣлись, надоѣли, или онъ хотѣлъ проявить свою власть, а можетъ быть все это явилось результатомъ припадка бѣлой горячки—Темка Кружковъ, председатель совдепа, отдалъ своей „свитѣ“ приказъ доставить въ компанію сейчасъ же, немедленно десятокъ молодыхъ и самыхъ красивыхъ буржукъ.

— Безъ разговоровъ. Въ случаѣ „супротивленія“—къ Духонину! Да смотри только!..—грубо, цинично, торжествующимъ и властнымъ голосомъ крикнулъ Темка вслѣдъ уходившимъ на „промыселъ“ гвардейцамъ. А послѣдняя его фраза, которую я не докончилъ, конецъ которой изъ приличія выпустилъ, означала, что дѣвушки должны быть невинныя...

Но эта разнузданная похоть больного человѣка была роковою и послѣднею въ Темкиной

жизни. Казачка, жена его, не могла перенести разврата и измѣны, измѣны въ открытую и при томъ такой дьявольской, никогда среди казачества неслышанной. Черезъ полчаса его не стало. Она пристрѣлила его, какъ собаку. Честь дѣвушекъ была спасена.

* * *

— Въ эти кошмарные дни разыскиваемые черную „буржуи“ были охвачены паническимъ страхомъ за свою жизнь, а поэтому и скрывались въ укромныхъ убѣжищахъ. Въ станицѣ учащаяся молодежь, видя инертность старшихъ, своихъ отцовъ, вооружалась, сформировавъ маленький партизанскій отрядъ. Штабъ отряда помещался у кадета—у Коли Смирнова. Онъ же былъ и командиромъ этого маленькаго „грознаго отряда“.

Дать „товарищамъ“ бой, бой настоящій мы не могли при всемъ нашемъ задорѣ и желаніи—насъ было слишкомъ мало. Мы порѣшили уйти изъ станицы, уйти въ Усть-Хоперскую. Тамъ, по слухамъ, ожидалось возстаніе казаковъ противъ большевиковъ. Такъ какъ большевиками въ Усть-Хоперской были только мѣстные фронтовики-казаки, то поэтому старики ихъ не боялись и во всеуслышаніе высказывали свое неудовольствіе и ропотъ. Да и сами-то эти большевики были казаки, казаки прежде всего.

Тяготѣніе къ роднымъ куренямъ, вѣчные упреки солдатъ и иногородцевъ за подавленіе революціи въ 1905 году — все это заставило казаковъ стать если не большевиками, то пассивными, нейтральными къ нимъ. Но, когда, вернувшись въ

родные края, они увидѣли настоящее лицо коммунизма (а въ то время это еще были цвѣтики), когда пошли слухи о раздѣлѣ казачьихъ земель, — эти фронтовики, хотя и придерживались наружнаго нейтралитета, хотя и возглавляли мѣстные „комы“, но въ душѣ кипѣли злобой къ измѣнникамъ слова. „Общали землю, а теперь отбирать?!“ — ворчали казаки: „посмотримъ!“

И въ этомъ „посмотримъ“ чувствовались колебаніе, сомнѣніе, обиды и боль. Казакамъ хотѣлось вѣрить, что вышло просто какое-то недоразумѣніе, хотѣлось вѣрить въ лучшее, въ правду.

Фронтовики понимали насмѣшку и ложь коммунизма. Изъ всего, что вокругъ творилось, они убѣждались, что ихъ одурачили. Но въ томъ, что ты проведенъ, обманутъ, было больно сознаться. Хотѣлось пообождать съ возстаніемъ, помедлить. Авось будетъ такъ, какъ говорили товарищи на фронтѣ, въ Питерѣ, Царицынѣ. Вѣдь война объявлена дворцамъ, капиталистамъ, угнетателямъ народа!..

— Посмотримъ, погоди маленько! — хмуро отвѣчали молодые казаки на отцовскія насмѣшки, издѣвательства. Невольно вспоминались слова старинной пѣсни о Разинѣ: „Этотъ ропотъ и насмѣшки слышитъ грозный атаманъ“.

Возстаніе должно было быть несомнѣнно. Вопросъ былъ лишь только во времени и къ тому же въ малой отсрочкѣ...

* * *

— Мы пришли въ Усть-Хоперскую. На душѣ стало легче, свободнѣй. Мы были среди своихъ, среди казаковъ. Въ Усть-Хоперской организато-

ромъ возстанія былъ войсковой старшина Голубинцевъ. Онъ назначилъ въ нашъ отрядъ офицера и опытныхъ боевыхъ урядниковъ-взводныхъ. Коля Смирновъ сдалъ отрядъ сотнику и получилъ новое назначеніе вахмистромъ. „Грозный“ отрядъ сталъ военной частью, настоящимъ партизанскимъ отрядомъ. Мы были наверху блаженства. Трудно передать то чувство, которое я испыталъ въ первый день, когда получилъ винтовку!

Спали въ сараѣ, на сѣнѣ. А рядомъ близкая, родная винтовка. Въ первую ночь я почти не спалъ. Проснулся и сейчасъ же за винтовку. Здѣсь ли она?! Все почему-то казалось, что она вотъ-вотъ куда-то исчезнетъ, да и все происшедшее днемъ казалось какой-то сказкой, сномъ. Лишь подъ утро, наконецъ, я заснулъ и грезились мнѣ желанныя картины: всколыхнулся Донъ, шумятъ станичные майданы. Широкая, безбрежная степь. Колышятся нивы, ковыль. А по большаку идутъ славные, лихіе, донскіе полки. Издалека, какъ бы о чемъ-то тоскуя и плача, звенить подголосокъ... Колокольный перезвонъ—Москва... Стотысячная народная толпа и море, море цвѣтовъ.

* * *

— Пришла Пасха—Свѣтлое Христово Воскресеніе, „Праздникъ изъ праздниковъ, торжество изъ торжествъ“. Какъ мало словъ, но какая гамма чувствъ, радости, свѣта, тепла. Сколько непонятнаго и таинственнаго въ непроницаемой темнотѣ ночи, въ звукъ перваго благовѣста. А мириады звѣздъ! Смотришь на нихъ, на эти звѣзды, а тебѣ вотъ почему-то кажется, чувствуешь, что это не простые огоньки, а горятъ, свѣтятся на-

стоящія человѣческія души. Души умершихъ на землѣ и тамъ, въ тайной, недосягаемой для насъ выси, нашедшія свое мѣсто, и души еще не родившихся людей, не сошедшихъ еще на Голгофу, на нашу грѣшную землю. И вотъ всѣ эти души какъ будто насторожились и, прорѣзывая своимъ свѣтомъ мракъ, смотрятъ на землю и трепетно ждутъ, что будетъ сейчасъ съ человѣчествомъ. Воспрянетъ ли міръ, погрязшій въ тинѣ преступностей, въ эту ночь торжества правды надъ зломъ, или въ звѣрствѣ и безумствѣ своемъ распнетъ снова воскресшаго Христа? Ни шума, ни вѣтерка, ни облачка. Все притихло и внемлетъ.

Старики фронтовики, женщины и дѣти съ узлами изъ платковъ, въ которыхъ несли куличи, пасхи и крашенки къ освященію — мѣрно, вереницей, перекидываясь съ сосѣдомъ полушопотомъ, подходили къ церкви, гдѣ еще шло чтеніе у Плащаницы, около Гроба Господня.

Со входомъ за церковную ограду казаки крестились и со смиреніемъ и страхомъ входили въ самую церковь, покупали свѣчи и устанавливали ихъ каждый самолично на подсвѣчникъ, какъ маленькій, но вмѣстѣ съ тѣмъ единственный, драгоценнѣйшій даръ Искупителю. И чудилось, что и эти огоньки, бездушныя свѣчи, такъ же, какъ и звѣзды, чего-то ожидали. Ожидали и казаки, въ особенности старики. По ихъ сѣдобородымъ лицамъ, что лики російскихъ святыхъ, было видно, какъ далеки въ данный моментъ они отъ земли. Они забыли про посты за станціей, и мысль о возможномъ боѣ и смерти не нарушала ихъ душевнаго спокойствія.

Въ эту именно ночь почему-то предполагалось со стороны Усть-Медвѣдицы наступленіе хорошо вооруженныхъ красныхъ отрядовъ.

И не мудрено, что всѣ помыслы, всѣ взоры, вся воля, какая только можетъ быть у смертнаго, были устремлены въ одну точку, откуда ожидалось чудо—къ Спасителю.

Казакамъ хотѣлось одного—Христовъ Праздникъ провести по старому, по христіански, спокойно.

Вся церковь какъ бы стонала — „Боже, спаси и помилуй!“ Три слова. Вся молитва. Маленькая, великая молитва. По лицамъ, къ носу стекали слезы. Слезы путались въ усахъ, бородѣ. Слезы раскаянія ли въ грѣхахъ, слезы ли скорби и обиды за униженіе, за позоръ, что дѣти принесли съ собою съ фронта, или слезы надеждъ, воскресенія, радости? Кто сможетъ отвѣтить на этотъ вопросъ, кто можетъ проникнуть въ человѣческую душу. Одно было ясно и понятно: эти слезы шли отъ самыхъ глубинъ, отъ самаго сердца, изъ далекихъ, далекихъ тайниковъ души!

И чѣмъ больше, чѣмъ обильнѣе лились эти слезы, тѣмъ яснѣе и спокойнѣе становились лица молящихся. Глаза же горѣли огнемъ, но не огнемъ звѣздъ, робко мерцающихъ въ выси, а полнымъ вѣры въ побѣду свѣта надъ мракомъ.

И вѣрилось, что противъ этой вѣры и воли ничто не устоитъ и, какъ бы ни были сильны сатанинскія полчища, они дрогнуть, сгинуть и воскреснетъ Христосъ, а вмѣстѣ съ нимъ воскреснетъ и Россія.

Но вотъ раздался погребальный звонъ. Тѣснымъ кольцомъ казаки обступили священника и пошли за гробомъ Христа въ неизвѣстное, въ тотъ міръ, который Господь своею смертію и Воскресеніемъ открывалъ вѣрующимъ въ него.

Съ Плащаницею стали на паперти. Короткая служба. „Милосердія двери отверзи намъ“ — провозглашаетъ громко и съ чувствомъ передъ закрытыми дверями священникъ. „Милосердія двери отверзи намъ“ — крестясь повторяли казаки. Двери открылись — чудо свершилось. И священникъ, весь торжествующій и сіяющій какимъ-то сіяніемъ неземнымъ, не говоритъ, а выкрикиваетъ: „Христось Воскресе!“ и такъ же торжествуя, такъ же побѣдно вырывается изъ со-тенъ грудей: „Воистину Воскресе!“... Великій, незабываемый мигъ. Похристосовались, куличи освящены, служба окончилась. Казаки шутя и балагуря спѣшили по домамъ. А дома — гуси, утки, окорока и море водки и браги.

* * *

— Возстаніе усть-хоперцевъ было рѣшено. На второй день Пасхи, ровно въ четыре часа пополудни ударили въ набатъ, а минутъ черезъ двадцать казаки запрудили всю площадь. На крыльцѣ станичнаго майдана появился атаманъ. Снял шапку, отвѣсилъ три глубокихъ поклона. Шумъ сталъ понемногу стихать, и когда всѣ успокоились настолько, что получилась возможность говорить, атаманъ началъ:

— Дорогіе станичники! Супостатова власть въ Окружной порѣшила раздѣлить наши земли, уничтожить казачество. Наши земли и вольность

добыты кровью казачьей, кровью дѣдовъ и отцовъ. И отцы наши намъ завѣщали умирая защищать честь и славу казачью, не щадя своей жизни для этого. Неужто мы посрамимъ ихъ сѣдины, развѣ не сыны мы Тихаго Дона? Да неужто мы сдадимся босякамъ, иногороднимъ, супостатовой власти? За што на грудяхъ медали и кресты? Да кто же мы? Казаки или сукины дѣти? Чаво жъ ты молчишь, родная станица?! Чаво ждешь? Часъ пробилъ! Ришайтеси!!

Атаманъ побѣдилъ. Казакъ проснулся во фронтовикахъ. Шумъ, крики одобренія. Шапки полетѣли въ воздухъ.

Слово беретъ войсковой старшина. Онъ не говорить, не разжигаетъ, не будить. Офицеръ прямо приступаетъ къ дѣлу.

— Вахмистры и урядники ко мнѣ! — выкрикиваетъ офицеръ, отчеканивая каждое слово, какъ слова команды.

Шумъ на минуту смолкаетъ. Изъ толпы выходятъ урядники, поднимаются на крыльцо. Четверть часа совѣщанія. Офицеръ, атаманъ и урядники покидаютъ майданъ. Возбужденные казаки расходятся по домамъ. Конные сидѣльцы *) помчались въ хутора. Объявлена всеобщая мобилизація. Сполохъ начался.

* * *

— На небѣ, какъ бы зажигааясь одна отъ другой, вспыхивали звѣзды. Нашъ отрядъ уже стоялъ у майдана. Туда же стекались и отряды съ хуторовъ — при полной „боевой“ и съ возами

*) Первая служба молодого казака. Конные разсылные.

еѣна и прочимъ провіантомъ для себя, такъ сказать, съ своимъ собственнымъ обозомъ.

На возахъ сидѣли казачки гуторя и шутя съ односумками *), видно гордясь и на ихъ долю выпавшей обязанностью. Онѣ тоже въ походѣ, на войну, онѣ тоже съ мужьями. Онѣ тоже воины! И если-бъ скомандовали:—казачки по конямъ!—онѣ сидѣли бы въ сѣдлахъ.

Казаковъ прибывало все больше и больше. Собирались въ кружки, лущили сѣмьачки, курили, вели разговоръ. Тема разговоровъ, конечно, походъ. Бабы же ходили за лошадьми: поили, подсыпали овса, отпускали сѣдельные ремни. Старики преобразились, помолодѣли. Помню, какъ сейчасъ,—старикъ вахмистръ, сѣдой, лѣтъ шестидесяти, вся грудь въ крестахъ и медаляхъ, выхватилъ изъ ноженъ клинокъ и, какъ бы приговаривая: „раззудись, плечо...“, рубить имъ воздухъ, воображаемаго врага, „анчихриста“.

Но вотъ прибыло и главное начальство — Голубинцевъ и атаманъ со взводомъ. Войсковой старшина сдѣлалъ смотръ, подсчитали силы. Оказалось пять конныхъ сотенъ, три пѣшихъ дружины и нашъ партизанскій отрядъ—всего человекъ до двухъ тысячъ. Дружины были почти безъ оружія: кто съ шашкой, кто съ пикой, кто съ вилами, кто съ охотничьими ружьями. Винтовокъ почти не имѣли. Сотни же, хотя имѣли и винтовки и шашки, но патроновъ было не болѣе десятка на cadaго. На разсвѣтъ мы были у

*) Жены казаковъ—товарищей, питающихся на службѣ, на войнѣ изъ одной сумки.

цѣли. Красныхъ настигли врасплохъ. Они еще спали.

Усть-Медвѣдичкая была взята почти безъ потерь. У красныхъ отбили: 6 пулеметовъ, до 1000 винтовокъ и большое количество патроновъ.

Такъ въ нашемъ округѣ начался первый день бѣлаго, казачьяго движенія. Энтузіазмъ былъ полный. Больше всего вниманія, конечно, выпало на долю нашего отряда. Въдѣ въ станицѣ у насъ были наши родные, сестры, у многихъ уже невѣсты, любовь.

Дѣвушки отъ радости хватали каждого изъ насъ за плечи, шею, цѣловали и съ гордостью смотрѣли въ глаза. Мы были герои, мы смыли позоръ.

Казакъ остался вольнымъ сыномъ широкихъ вольныхъ степей.

Возрождалась жизнь, приходило счастье, свѣтъ, тепло, зарождалась любовь. Воскресали былины Тихаго Дона. Писалась новая страница славы въ исторіи казачества.

„Всколыхнулся, взволновался православный Тихій Донъ“...

* * *

— Объявленная мобилизація по хуторамъ нашей станицы, къ нашему стыду и позору, дала очень мало, почти ничего. Наши казаки держали „нейтралитетъ“—выжидали чья возьметъ, шкурничали. Фронтовики еще были въ революціонномъ угарѣ. Да къ тому же и станичникъ, полковникъ Мироновъ былъ на сторонѣ совѣтовъ, что также не могло не отразиться на настроеніи нашихъ станичниковъ.

Силы повстанцевъ однако все увеличивались. Фронтъ противъ красныхъ держали, кажется, два конныхъ полка. Дружины усть-хоперцевъ были распущены по домамъ. Нашъ же отрядъ слился съ формировавшимся тогда въ станицѣ Алексѣевскимъ партизанскимъ отрядомъ и состоялъ исключительно изъ учащейся молодежи. Мы остались въ станицѣ и занимались военной учебой.

Поступили свѣдѣнія, что весь югъ, почти что вся область свободна отъ красныхъ. Ждали подкрѣпленія. Но прошла недѣля, другая, мѣсяцъ—подкрѣпленіе не шло. Большевики готовились къ реваншу. Мироновская гвардія изъ хохловъ и фронтовыхъ казаковъ, подкрѣпленная царичынскими матросами и батареей трехдюймовокъ, повела наступленіе. Красные и по количеству и въ смыслѣ вооруженія значительно превосходили наши силы.

Было рѣшено отступить въ Усть-Медвѣдицкую, не дальше, а мостъ черезъ Донъ развести. Такъ и сдѣлали. Понтоны и лодки причалили къ своему берегу,—мы были какъ въ крѣпости.

Красные остановились въ Александровкѣ, на хуторѣ Шашкинѣ и въ Березкахъ по ту сторону Дона, фронтомъ верстъ на десять и не болѣе какъ въ четырехъ-семи верстахъ отъ нашей станицы. Красные съ нашего крутого и высокаго берега были у насъ на виду, на ладони. Мы видѣли ихъ каждое движеніе, мы видѣли ихъ батареи, походныя кухни. Видѣли простымъ, не вооруженнымъ глазомъ. И какъ-то не вѣрилось, что мы видимъ настоящую войну, войну жесточайшую изъ войнъ, непримиримую, мстительную—

гражданскую войну, войну отца съ сыномъ, племянника съ дядей, сосѣда съ сосѣдомъ.

Казалось, что люди просто дурачатся, играютъ въ солдатики. Никто тогда не думалъ о послѣдствіяхъ, къ которымъ привела эта игра.

Бѣлый и красный... Да будетъ проклятъ тотъ человѣкъ, кто русскихъ людей, дѣтей и отцовъ, братьевъ родныхъ подѣлилъ на эти цвѣта, зажегъ вражду и ненависть въ человѣчествѣ...

* * *

— Съ противоположнаго берега отчалила лодка. На лодкѣ поднять бѣлый платокъ. Это къ намъ делегація отъ русскихъ людей, именующихъ себя почему-то красными, почему-то вдругъ ставшихъ нашими врагами. Делегація отъ станичника, отъ родного усть-медвѣдца, полковника Миронова, бывшего полковника Россійской Императорской арміи.

„Товарищъ“ Мироновъ своимъ станищикамъ прислалъ ультиматумъ: или-или. Или сдать станицу безъ боя, или онъ откроетъ артиллерійскій огонь. Конечно, предложеніе отвергли, и черезъ полчаса станица приняла ураганный огонь трехдюймовокъ.

Населеніе, не слыхавшее во всю свою жизнь даже артиллерійскаго выстрѣла—подъ ураганнымъ огнемъ. Форменный хаосъ... Плачь, крики, проклятія...

— Кадеты проклятые, окаянные буржуи, чтобъ васъ чортъ подралъ, — ворчало населеніе; ворчали всѣ: казаки усть-медвѣдцы, крестьяне, купцы—и бѣдный и богатый...

Мы, вольные казаки—буржуи, проклятые ка-

дети... Какая злая иронія судьбы... А буржуи, настоящіе буржуи готовили врагу хлѣбъ-соль... И читалось въ ихъ сознаніи проклятое, рабское „авось“, сдача на милость побѣдителя...

Положеніе становилось критическимъ: мобилизованные усть-медвѣдцы разбѣгались по домамъ, чтобы своей измѣной снискать у „товарищей“ милость; мѣстные большевики стрѣляли изъ оконъ, снизу по Воскресенской отъ Дона заговорилъ пулеметь, отъ берега отчалилъ паромъ...

Полковникъ Голубинцевъ потерялъ голову, растерялся. Казалось, порывъ былъ сломанъ и у партизанъ.

Обида и горечь, ненависть и презрѣніе ко всѣмъ и ко всему, смѣняясь, рождались въ пылкихъ, дѣтскихъ душахъ партизанъ. Тѣ, кѣмъ раньше гордились, въ эту роковую минуту, въ рѣшительный часъ, сдались, оказались жалкими, ничтожными рабами.

Ореоль, окружавшій ихъ, разсѣялся, и исчезли подбитыя краснымъ шинели, пала золотая оболочка...

Исчезли фраки, визитки, золотые часы и цѣпочки. Все расплылось, расплылось... И вмѣсто людей, которыхъ уважали, любили, предстали жалкія, трусливыя существа — обросшая саломъ, заплывшая масса.

Ни жертвенности, ни абсолютно никакого идеала. Кумиры сходили съ пьедестала.

Мы собирались къ отходу... Мы покидали станицу.

* * *

— Мы отходили.

Вдругъ навстрѣчу намъ раздалась музыка военного оркестра. Кто это? У насъ не было оркестра, да и кому въ голову пришло бы играть въ такую минуту! А музыка все ближе, все слышнѣе.

— Подкрѣпленіе, — пронеслось въ отрядѣ. И фактъ, подымая облако пыли, дѣйствительно подходила помощь.

Впереди на ворономъ скакунѣ, раскинувъ по вѣтру бѣлые крылья одѣтаго по-горски башлыка, въ гимнастеркѣ и въ бѣлой кубанкѣ летѣлъ войсковой старшина. Словно орелъ, словно сказочный чудо-богатырь. А за нимъ черное знамя съ бѣлымъ крестомъ и его опора — храбрые вихрастые казаки.

Настроеніе у насъ моментально взлетѣло. Нашъ командиръ взволнованнымъ отъ радости голосомъ крикнулъ:

— Отрядъ, стой!

Мы приготовились къ встрѣчѣ.

Войсковой старшина на полномъ лету осадилъ скакуна, конь взвился на дыбы и раздалось могущественное, властное:

— Здорово, орлята!

* * *

— Какая сила, какая воля была въ этомъ привѣтствіи! Предъ нами былъ вождь, богъ войны и побѣды. Это мы видѣли, чувствовали. Мы вѣрили въ побѣду, мы уже побѣждали...

Раздались три оглушительныхъ взрыва. Дальнѣйшихъ словъ не было слышно. Красные снова развивали огонь. Но отрядъ нашъ стоялъ какъ вкопанный. И помню, какъ сейчасъ: какая-то

волна подкатывала къ горлу, останавливая дыханіе. На глазахъ слезы. А впереди онъ, нашъ вождь, полубогъ.

Нашъ командиръ получилъ приказаніе. Скакунъ рванулъ, бѣлыя крылья взлетѣли на воздухъ. Войсковой старшина помчался въ станицу...

* * *

— Мы залегли въ городскомъ саду, на крутомъ берегу, какъ разъ напротивъ хутора Березокъ.

Съ того берега уже шелъ паромъ съ красными. Вотъ онъ уже на поль-пути, на серединѣ Дона. Мы открыли огонь. Нѣсколько залповъ, короткая строчка Махѣм'а*). На паромѣ смятеніе, убитые. Паромъ несетъ по теченію... Изъ Березокъ къ берегу толпами спѣшили „товарищи“. Каждому изъ нихъ хотѣлось попасть въ станицу первымъ, быть въ числѣ триумфаторовъ. Вѣдь Миرونъ отдалъ ее имъ, какъ трофей... Словомъ, впереди все, о чемъ мечтаетъ, чего жаждетъ звѣрь-человѣкъ...

.....

— Съ забора сада вѣрный прицѣлъ. Мы открыли снова огонь. Лишь немногимъ счастливымъ удалось спастись бѣгствомъ. На этотъ разъ красные жестоко ошиблись, обожглись...

* * *

— Тѣмъ временемъ войсковой старшина въ кубанкѣ со своимъ отрядомъ наводилъ въ станицѣ порядокъ. Возстаніе мѣстныхъ „товарищей“ было моментально подавлено. Тюрьма наполнялась. Въ

*) Пулеметъ системы Максима.

станицу собирались фронтовики, которых вновь прибывшій отрядъ ловилъ на дорогахъ.

* * *

— Въ два часа дня нашъ командиръ получилъ записку. На блокнотномъ листкѣ чернильнымъ карандашомъ было написано:

„Есаулу Алексѣеву. Оставивъ взводы въ саду, всему отряду въ 15 часовъ явиться на парадную площадь.

Атаманъ Романъ Лазаревъ.
13 часовъ 48 минутъ“.

Это былъ начальникъ партизанскаго карательнаго отряда. Обратите вниманіе: не войсковой старшина, а просто атаманъ. Да, онъ зналъ чѣмъ покоряютъ сердца...

* * *

— Въ 3 часа мы были на площади. Всѣ части налицо: усть-хоперцы, наши усть-медвѣдкіе дезертиры, согнанные Лазаревымъ, его маленькій карательный отрядъ. Всего человекъ 800. Парадомъ командуетъ полковникъ Голубинцевъ. Мы подтягиваемся, горя желаніемъ скорѣй увидѣть его, атамана Лазарева, заслужить его похвалу и снова услышать его властный голос.

* * *

Но вотъ и онъ.

— Парадъ смир-на!.. На кра-улы!

— Господа-офицеры!..

Команда исполнена. На солнцѣ блеснули клянки, винтовки, взятыя по командѣ.

Въ сопровожденіи своихъ ординарцевъ вихремъ появляется на площади Лазаревъ, держа направленіе къ нашему отряду.

Навстрѣчу вылетаетъ Голубинцевъ. Теперь онъ тоже выглядѣлъ лихо, настроеніе передалось и ему.

Но Лазаревъ какъ будто его не замѣчалъ. Взлетъ руки вверхъ — рапортъ былъ принятъ на полномъ скаку.

Вотъ онъ передъ нами. Снова, взмахъ руки, и круто осаженный конь взвивается на дыбы.

— Здорово, чудо-богатырята!..

Искра брошена, послѣдовалъ взрывъ:

— Здравія желаемъ нашъ атаманъ!—Ни благодарій, ни превосходительствъ. Просто: „нашъ атаманъ“. Скромно, но вмѣстѣ съ тѣмъ куда величественнѣй „превосходительствъ“, „сіятельствъ“. Превосходительства умирали, уходили въ преданія. Зарождалась новая эра, новая жизнь. Вставали образы далекихъ дней былого атаманства, тѣни прежнихъ славныхъ атамановъ.

— Зарядить пулеметы, взять на прицѣлъ усть-медвѣдицкій сбродъ,—строго бросаетъ нашему командиру Лазаревъ, поворачивая коня къ усть-хоперцамъ.

— Здорово, орлы!—Какъ молнія прорѣзало тишину и грянулъ громъ:

— Здравія желаемъ...

Усть-хоперцы—орлы. Мы въ восторгѣ, ликуемъ за нихъ! Да, они дѣйствительно орлы.

— Здорово, надежда!—Это своему преданному вѣрному отряду.

— Здорово и вы!—уничтожающе, съ презрѣ-

ніемъ, съ какой-то брезгливостью обращается онъ къ нашимъ усть-медвѣдцамъ.

Стыдъ, позоръ. „Здорово и вы“—что-то неопредѣленное, гадкое, какое-то ничтожество. О, какая обида для казака, для военного въ этомъ „и вы“...

И въ самомъ дѣлѣ это былъ сбродъ, а не часть. Безъ погонъ, безъ кокардъ, нѣкоторые безъ винтовокъ.

Жалкое, перетрусившее стадо. Словенные бандиты—не болѣе...

Наши пулеметчики начеку. Лишь только сигналъ—застрочать.

— Кто не боится смерти,—стройся къ усть-хоперцамъ!—вызывающе, съ задоромъ приказываетъ Лазаревъ. Человѣкъ сорокъ, не задумываясь, вмигъ отдѣлились отъ своихъ станичниковъ. Это были храбрецы. Полминуты раздумья и къ усть-хоперцамъ присоединилось еще до полусотни.

— А вы,—обращается Лазаревъ къ оставшимся: — вонъ съ площади! Направо! Шагомъ, маршъ!..

Шкурники покидали плацъ ничего не понимая, не зная, куда они идутъ, что ихъ впереди ожидаетъ...

— Надежда, взять! — Лазаревъ крикнулъ своимъ и въ мгновеніе, какъ градъ, посыпались удары плетей, разсѣкая шинели и лица казаковъ устранившихся смерти въ открытомъ бою, въ лихой атакѣ.

Ихъ погнали въ тюрьму. А Лазаревъ, какъ будто ничего не случилось, веселый, жизне-

радостный пропуская части церемониальнымъ маршемъ.

Хотя музыки не было, но подъемъ духа въ частяхъ былъ прекрасенъ. Прошли — лучшаго нельзя было требовать

Парадъ закончился.

— Взвейтесь, соколы, орла-а-а-ми, полно
горе горевать,

То ли дѣло подъ шатр-а-а-ами въ полѣ
лагеремъ стоять...

заливался запѣвало колокольчатымъ, чарующимъ теноромъ.

— Взвейтесь, соколы, орлами...— дружно молодыми голосами подхватывалъ нашъ молодой отрядъ.

По Мало-Придонской улицѣ съ лихимъ присвистомъ: „Зимоваль мой хмѣлекъ въ лѣсѣ на тычинѣ“; на Пахомовской и Клиновской идутъ усть-хоперскія части и поютъ о чемъ-то, въ пѣснѣ трудно разобрать: „чарочки съ походу разсказываютъ, чарочки съ походу всю ночь говорятъ“...

И также съ пѣсней идутъ по Воскресенской. Части расходились по районамъ, на свою стоянку.

* * *

Мы снова въ городскомъ саду, но не въ цѣпи, а на отдыхѣ. Стрѣльба прекратилась. Лишь изрѣдка Мироновъ посылалъ изъ трехдюймовокъ свои визитныя карточки.

Въ прохладныхъ тѣняхъ у липъ, тополей и акацій размѣстились наши партизаны.

Одни съ жаромъ дѣлились своими впечатлѣ-

ніями о Лазаревѣ и сравнивали его съ именами великихъ полководцевъ; другіе видѣли въ немъ отраженіе, воплощеніе Степана Разина, а третьи просто лежали на травѣ ни о чемъ не думая, не разсуждая. Для нихъ онъ былъ все: онъ былъ ихъ кумиръ.

* * *

— Прискакалъ ординарецъ. У всѣхъ на лицахъ вопросъ, любопытство. Разговоры смолкли.

Пакетъ врученъ командиру и нашъ папаша, Алексѣевъ быстро пробѣгаетъ глазами посланіе. На лицѣ его недоумѣніе. Видно, не этого онъ ждалъ. Мы же, молодежь, возбуждены, взволнованы. Навѣрно въ походѣ, въ бой, въ атаку. Такъ думалось намъ, этого лишь мы ждали.

И вставали картины лихихъ, безсмертныхъ атакъ, о которыхъ мы такъ много читали. Вотъ мы въ бою, а впереди онъ, нашъ чудо-богатырь. Гремитъ побѣдное ура... Врагъ дрогнулъ... Бѣжить... несутся лавой съ гикомъ усть-хоперцы... Блестятъ какъ молніи клинки: то рубятъ головы врага, какъ кочаны капусты. Трупамъ устѣяно все поле... Побѣда. Мы разбили... Горнисть играетъ сборъ...

— Гимназисты-трубачи, сейчасъ же по домамъ: забрать свои трубы и къ Лазареву. Онъ у предводителя дворянства,—сердитымъ, возмущеннымъ голосомъ отдаетъ командиръ приказаніе.

Иллюзія исчезла. вмѣсто боя, горячихъ атакъ—кутежъ, трубачи. Этого каприза, этого поступка мы не понимали и никакъ ужъ не ждали отъ того, къѣмъ только что восхищались, предъ кѣмъ преклонялись.

Есауль нашъ, сказавъ что-то своему помощнику, поскакалъ къ Лазареву. Конечно, онъ насъ не посвящалъ, куда отправляется, но въ этомъ и не было надобности. Мы чувствовали это, были въ этомъ убѣждены, и всѣ лихорадочно ждали возвращенія командира.

Прошло минутъ двадцать—Алексѣевъ вернулся. Онъ былъ дьявольски золъ, а потому заговорить съ нимъ никто не рѣшался. Видно было, что онъ получилъ отъ Лазарева „много чертей“.

И намъ стало ясно, что со стороны Лазарева съ трубачами былъ просто устроенъ фортель, какой-то задуманный имъ планъ, необходимое, а не прихоть ради кутежа. Было въ этомъ что-то вродѣ историческаго Суворовскаго „кука-реку“.

И стало на душѣ спокойнѣе, свѣтлѣе...

* * *

— Стало темнѣть. Воздухъ прорѣзалъ сигналъ. То горнистъ игралъ „зорю“. Почти разомъ раздался второй, третій, четвертый сигналы, пятый, десятый. „Зорю“ играли во всѣхъ направленіяхъ. И казалось, что вся станица превратилась въ лагерь, наводнена войсками.

Мы оставили садъ и направились къ Дону, въ походъ. Тишь и мракъ. Ничего не видно. А въ станицѣ гремѣли марши, вальсы, покурри. То тамъ, то сямъ, во всѣхъ концахъ станицы вспыхивали пѣсни, то потухая, то снова разгораясь. И казалось, что въ станицу входили новые полки, свѣжія силы и подкрѣпленія.

* * *

— Погрузились въ понтоны. Отчалили. Дер-

жась берега, мы шли по теченію. Проплывъ версть пять, на берегу мы замѣтили конныя части. То былъ съ усть-хоперцами Лазаревъ. Мы повернули къ берегу, въ сторону врага. Налегли на весла и не болѣе какъ черезъ полчаса тихо, безшумно причалили. Правѣ, чуть ниже отъ насъ, пофыркивая, чуть со стономъ, выплывали лошади, а за ними, придерживаясь за лошадь, плыли казаки.

— Ну, вотъ и купались,—смѣясь шутилъ Лазаревъ: — снимай сапоги, да выливай живѣй воду!.. А теперь въ путь-дорогу... Не курить, не показывать огня! — приказывалъ нашъ отчаянный, безумно-храбрый командиръ.

— Не плохо,—посматривая на станицу, продолжалъ Лазаревъ.

— Лазаревъ умѣетъ покутить. Не правда-ли? — говоритъ онъ нашему командиру.

— Не чудесно-ли? Счастливцевъ Голубинцевъ!—закончилъ атаманъ.

И въ самомъ дѣлѣ было чѣмъ восхищаться, было на что посмотреть.

Огненными змѣями, вонзаясь во мракъ, одна за другой взлетали ракеты, на мигъ какъ будто потухали,—взрывъ—и разсыпались золотымъ букетомъ падающихъ звѣздъ; бенгальскіе огни — красные, фіолетовые, желтые, ярко-изумрудные смѣшивались и огненнымъ каскадомъ ниспадали внизъ.

А при каждомъ дуновеніи вѣтерка долетали звуки старыхъ, чарующихъ вальсовъ и казачьихъ пѣсень...

Тяжело идти въ бой, а еще тяжелѣе уми-

рать гдѣ-то подѣ кустомѣ, на родной землѣ, поблизости отъ своихъ родныхъ, истекая кровью... Умирать въ июньскую ночь. Идти не въ кулачный бой, а въ схватку безпощадную, безпльн-ную. Тамѣ ждетъ одно—иль жизнь, иль смерть, или на вѣкъ калѣка...

Признаюсь, я хотѣлъ бѣжать обратно, домой, къ матери, отцу, къ своимъ. Прибѣжать домой и крикнуть во весь духъ, во все горло, чтобы этотъ крикъ сердца, вопль молодой души слышалъ весь міръ:

— Мама, слышишь!? Мы идемъ убивать!!!
Насъ убиваютъ!!!

Мнѣ хотѣлось прыгать, плясать, пѣть, веселиться, мнѣ хотѣлось туда, за Донѣ, откуда неслись раздирающіе душу вальсы, въ тотъ садъ, гдѣ взлетали ракеты, какъ бы посылая намъ прощальный салютъ.

И зачѣмъ въ это проклятое время мнѣ шель шестнадцатый годъ, а не шестой?

Почему я съ винтовкой, когда мнѣ надо учиться, мечтательно любить, писать стихи о ней, о бѣлой пелеринкѣ, когда такъ хочется пѣть лишь для нея одной:

Лишь для того, чтобы услышала ты..
И пѣснь моя есть фиміамъ священный
Предъ алтаремъ богини красоты...

Но тутъ же, заглушая голосъ любви, говорилъ сознанію другой голосъ, указывая на неизбежное, на факты.

„Для того, чтобы жить и любить, и учиться, чтобы могли жить другіе, твоя мама, твоя бѣлая пелеринка,—ты долженъ идти въ бой, уби-

вать и убить какъ можно больше, не щадя, не жалѣя. Не убьешь ихъ здѣсь, въ бою—не будетъ тебѣ жизни и тамъ, въ станицѣ. Придутъ они въ станицу и принесутъ съ собою не только смерть... О, если бы одну только смерть... Они, прежде чѣмъ убить, пристрѣлить, будутъ издѣваться надъ душами. Растягивать, убьютъ сперва душу, а потомъ покончатъ съ тѣломъ.

Они выведутъ твоихъ маму и папу. Станутъ мучить. Ты вѣдь знаешь, какъ умѣютъ они: про-ткнуть штыкомъ животъ и начнутъ на палку наматывать кишки.

Такъ было, ты это знаешь. И такъ будетъ, повторится, если ты... не пойдешь убивать.

А что станеть съ твоей бѣлой пелеринкой? Ее схватятъ эти пьяные звѣри, бросятъ на кушетку... обнажать молодое, упругое тѣло... Она, конечно, будетъ отбиваться, кричать, звать на помощь...

«Умѣешь ли ты помочь ей тогда? Слушай, слушай,—продолжаетъ тотъ же голосъ.

— Это не все. Насильникъ встанеть, его смѣнитъ другой, третій, четвертый, десятый... Слышишь?! Вотъ зачѣмъ ты идешь убивать, умирать...»

Въ груди заклокотала злоба, ненависть. Смерть уже не была страшна, не пугала. Мучило меня только одно—ожиданіе. Поскорѣй бы только началось...

Мы заходили въ тылъ краснымъ. На разсвѣтъ были у цѣли, у хутора Шашкина. Конные спѣшились, оставили лошадей у коноводовъ, хуторъ былъ взятъ почти прямо въ кольцо.

Миронову—тамъ былъ его штабъ—оставили для выхода околицу. Но тамъ, приблизительно въ полуверстѣ отъ околицы, въ сторонѣ отъ дороги, въ кустахъ, приготовились къ встрѣчѣ наши пулеметы.

Да, по дорогѣ мы встрѣтили старика, разыскивающаго, какъ онъ намъ пояснилъ, своихъ коней. Отъ него мы узнали не только расположеніе красныхъ, но и ихъ настроеніе. Лазаревскій фейерверкъ и прелюдіи сдѣлали свое дѣло. Мироновъ былъ увѣренъ, что къ намъ подошло подкрѣпленіе, минимумъ дивизія. Такъ, по крайней мѣрѣ, передалъ намъ старикъ.

* * *

— И вотъ раздался сигналъ къ атакѣ. Свершилось. Началось настоящее свѣтопреставленіе: ура, гикъ, крики, лай собакъ, трескъ ружей, взрывы бомбъ — все это смѣшалось, слилось въ нѣчто общее, неподдающееся описанію, во что-то сверхъзвѣриное. Мы были въ настоящемъ аду, если таковой дѣйствительно существуетъ. Люди, нѣтъ, это не были люди. Это были даже не звѣри. Это были какіе-то безумцы, бѣсноватые, опьяненные кровавымъ угаромъ ожидаемой побѣды. И всѣ эти черти, чертенята, въ томъ числѣ и я, стрѣляли, горланили, атакывали хуторъ, наводя своимъ дикимъ ревомъ на все живое ужасъ и трепеть.

Мы ворвались въ хуторъ. Изъ куреней, амбаровъ, съ сѣноваловъ пулей вылетали „товарищи“, попадая въ бурлящій котель—въ рукопашную.

Стонъ, предсмертные крики, трескъ череповъ,

лопающихся подъ ударами прикладовъ, залпы винтовокъ и... трупы, трупы, залитые кровью.

* * *

— Не знаю, сколько времени этотъ адъ продолжался. Я былъ раненъ. Но когда брызнулъ первый лучъ солнца, мы были уже верстахъ въ пяти отъ хутора на дорогѣ въ Александровскую, домой. Я ѣхалъ на подводѣ. И при каждомъ толчкѣ на ухабѣ или кочкахъ ныла подбитая моя нога. Отъ боли бросало въ лихорадку, на лбу выступалъ каплями холодный потъ, а въ мысляхъ одно: лишь бы не отрѣзали ногу. На самомъ дѣлѣ рана была пустая, неопасная, но это была первая огнестрѣльная рана, а потому она казалась больнѣе, опаснѣе. Отъ непривычки, такъ сказать. Въ Александровской сдѣлали отдыхъ.

Побѣда одержана. Прояснялся рассудокъ. Пробуждалась совѣсть. Звѣри становились людьми.

Отрядъ выстроился. Въ строю оказалось всего 43 человекъ. А было болѣе двухсотъ. Да, это былъ бой. Памятное боевое крещеніе.

* * *

— Четко, нога въ ногу, плавно колыхаясь, отрядъ уходилъ обратно въ родную Усть-Медвѣдицкую. Сзади на подводахъ везли раненыхъ, убитыхъ товарищей.

Ликвидировавъ остатки красныхъ, насъ нагнали усть-хоперцы. Прилетѣлъ и Лазаревъ, а съ нимъ и радость и подъемъ.

Но вотъ мы и дома, на родномъ берегу. Навстрѣчу высыпали дѣвушки, женщины, дѣтвора. Здѣсь были матери, сестры, „бѣлыя пелеринки“ и младшіе братья. Всматривались въ ряды. И тѣ,

кто не находилъ того, кого жадно искали глаза, издавали крики—истерика, рыданія...

Плакали въ строю, плакали въ толпѣ, плакалъ я и другіе раненые.

— Пѣсню!—крикнулъ командиръ, желая разрядить тягостное настроеніе.

Кто-то, Нанейшвили уже не было, затянулъ его любимую пѣсню, нашу отрядную пѣсню:

Взвейтесь, соколы, орлами
Полно горе горевать...

Подхватили остальные, и пѣсня полилась. Отлетѣли и горе, и усталость, и страданье...

На слѣдующій день хоронили друзей. Восемьдесятъ два гроба по три, по четыре уложены поперекъ на дорогахъ. Вереница подводъ. Море цвѣтовъ, зелени, людей. Плачъ, раздирающіе сердце истерическіе вопли, а впереди, какъ бы стараясь заглушить вопли, гремѣлъ оркестръ:

Вы жертвою пали въ неравномъ бою,
Въ любви беззавѣтной къ народу,
Вы отдали все, что могли за него.
За честь его, жизнь и свободу...

И когда оркестръ умолкалъ,—хоръ пѣлъ, до глубины волнуя душу, похоронное...

Остановка на скрещеніи улицъ, чтеніе Евангелія и опять: „вы жертвою пали“.

Мы, легко раненые, ѣхали сзади, отдавая послѣднее прощаніе друзьямъ и своимъ соратникамъ.

Сердце устало, устала грудь, не плакалось. Вообще ни о чемъ не думалось, ни на что не реагировалось.

Опустили гробы въ двѣ большія могилы на высокомъ холмѣ „Пирамидъ“. Три залпа—послѣд-

няя почесть героямъ. И выросло два свѣжихъ могильныхъ кургана съ однимъ дубовымъ крестомъ.

И надпись на крестѣ на память потомству:

„Спать Алексѣвцы родные,
Орлята Дона, рыцари степные...

* * *

— Черезъ недѣлю въ станицу на самомъ дѣлѣ пришли новые полки, дивизія генерала Фицхеллаурова. Освободительное бѣлое движеніе ширилось, росло. И по безбрежному морю Донской ковыльчатой степи выростали новые могильные курганы...

Глѣбъ Петровичъ умолкъ. Поникъ головой. Онъ былъ весь — мыслями, душой — въ родномъ краю, въ сферѣ кроваваго прошлаго.

— То, что я вамъ сейчасъ разсказалъ, — прервалъ молчаніе разсказчикъ, — только начало моего разсказа. Это еще не крестъ. Это только маленькій георгіевскій крестикъ, который я получилъ за „дѣло“ подѣ Шашкинымъ. Это самое красивое изъ прожитого... Такъ сказать — цвѣтики...

Разсказчикъ сдѣлалъ паузу, точно подавилъ вздохъ и продолжалъ:

— Бои шли у станицы Островской, у границъ съ Саратовской губерніей. Нога моя правлялась. Я не чаялъ того дня, когда меня выпишутъ — настолько опротивѣлъ мнѣ госпиталь.

Черезъ недѣлю обѣщали выписать и отправить на отдыхъ къ родителямъ въ станицу Березовскую. Тамъ у насъ имѣлась усадьба. Тамъ же, отъ Березовской верстахъ въ двадцати, было

и наше маленькое имѣніе—наслѣдство послѣ дѣдушки.

Съ тѣхъ поръ, какъ я ушелъ къ усть-хоперцамъ, о домашнихъ я не имѣлъ никакихъ свѣдѣній, ибо тамъ были большевики—пропасть, которую перешагнуть никто не рѣшался. Почта, конечно, тоже не работала.

Было около восьми часовъ вечера. Я сидѣлъ на больничной койкѣ и, кончивъ читать свѣжій номеръ „Сѣверъ Дона“, думалъ о своихъ, о домашнихъ.

Два дня назадъ, какъ только получились свѣдѣнія о взятіи бѣлыми станицы Березовской, я домашнимъ отправилъ письмо. Въ своемъ письмѣ я кратко сообщалъ, что нахожусь въ партизанскомъ отрядѣ, за боевыя отличія получилъ георгіевскій крестъ, произведенъ въ младшіе урядники.

О раненіи, чтобъ не разстраивать отца, а въ особенности и безъ того очень нервную мать, я умолчалъ.

Я написалъ, что теперь мы на отдыхѣ, въ Окружной и, что вѣроятно, черезъ недѣлю пріѣду къ нимъ въ отпускъ, на побывку и тогда расскажу все подробно.

Отецъ мой былъ ветеринарнымъ врачомъ и какъ настоящій демократъ военныхъ не только не любилъ, но относился къ нимъ и ко всему военному съ какимъ-то презрѣніемъ, съ брезгливостью.

Я же лично только грезилъ военнымъ мундиромъ, звономъ серебряныхъ шпоръ, блескомъ офицерскихъ погонъ, аксельбантами. Почему-то

былъ увѣренъ, что буду генераломъ и не простымъ, а гениемъ, вторымъ Суворовымъ, полководцемъ. Все свое свободное время я посвящалъ чтенію книгъ исключительно военныхъ. Изъ-за этого между мной и отцомъ происходили частыя ссоры и разъ дошло даже до того, что я ушелъ отъ отца.

Наконецъ отецъ пошелъ на компромиссъ: онъ примирился и съ военнымъ мундиромъ, и со шпорами, и съ блестящими погонами... только учись.

— Все это ты будешь имѣть,—говорилъ мнѣ отецъ.—Ты будешь военнымъ интендантомъ. Ты пойдешь въ академію...

— Знай,—сказалъ онъ мнѣ однажды.—Тебя потерять — все потерять, ты у меня вѣдь единственный сынъ. Понялъ?

Какъ не уступить отцу, читая въ его глазахъ, въ ноткахъ его голоса такую сильную, безпредѣльную любовь. Мать меня тоже обожала. Да, пріятно, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ тяжело быть единственнымъ сыномъ! Я сдался. Согласился съ предложеніемъ отца. Учился хорошо, былъ первымъ ученикомъ. Подавалъ, какъ говорится, большія надежды.

Но ворвалась революція—спутала всѣ карты, мало того, порвала ихъ на мелкіе кусочки и все это—карты, планы развѣяла по вѣтру своимъ ураганомъ.

Да и что говорить о планахъ. Много... много десятковъ и сотенъ тысячъ человѣческихъ жизней уничтожила революція, засыпала могильной землей. И столько же тысячъ посрывала съ

родныхъ насиженныхъ гнѣздъ и занесла въ такіе края, что даже не снилось...

— Итакъ, я сидѣлъ на койкѣ и думалъ о томъ, что сейчасъ переживаетъ отецъ, мать, читая мое письмо, узнавъ, что все же я сталъ военнымъ, строевикомъ.

Отецъ зналъ, что Георгій за прогулку рядовымъ солдатамъ не дается. Для этого надо быть въ бою, колоть, стрѣлять, рубить...

Но вѣдь то же самое дѣлаетъ и другая, противная сторона. Значитъ игра. Ставка на счастье. Вытащилъ счастливый билетъ—живъ, легко раненъ; попался другой „пустой“—нѣтъ человѣка, пѣсня спѣта...

Но я же живъ. Что же горевать и философствовать. Отецъ долженъ быть въ восторгѣ, долженъ быть счастливъ, радоваться моему серебряному крестику.

Такъ, отбрасывая прочь логику, успокаивалъ я себя, старался не думать о худшемъ, о тяжеломъ переживаніи отца, мукахъ, которыя должна испытывать мать.

Въ открытое окно вмѣстѣ со струей свѣжаго воздуха врывались звуки моднаго въ то время романса:

Вотъ вспыхнуло утро, румянятся воды,
Надъ озеромъ быстрая чайка летитъ,
Въ ней много простора, въ ней много свободы,
Лучъ солнца у чайки крыло серебрить...

Тяжелая жизненная драма... О ней, какъ бы нарочно, предостерегающе напоминалъ оркестръ въ городскомъ саду молоденькимъ „чайкамъ“, жаждущимъ ласки, любви, мечтающимъ о ска-

вочномъ принцѣ въ этомъ волшебномъ юнь-скомъ полумракѣ.

Будьте осторожны. Бойтесь заманчивой тайны кустовъ!!! Таковъ былъ смыслъ этого вальса, волнующихъ звуковъ...

„Слушайте“, поясняя оркестръ:

Надъ чайкою выстрѣлъ раздался,
Она трепеща умерла въ камышахъ,
Шутя ее ранилъ охотникъ прелестный,
Не глядя на жертву, онъ скрылся въ кустахъ...

* * *

— На больничномъ столикѣ у койки стояли розы, наполняя комнату пьянящимъ ароматомъ. Вспомнилъ мраморную „бѣлую пелеринку“. Застучало въ вискахъ, затрепыхалось сердце, захотѣлось любви...

Вытащилъ изъ ящика письмо. Прочиталъ:

„Милый Глѣбъ!

Сегодня я приду къ тебѣ въ 10 часовъ. Приду—поцѣлую. Твоя Лидія“.

Было уже безъ четверти десять. Въ мозгу блеснула мысль: „сейчасъ ты будешь со мной“. Но тутъ же вспомнилъ про другія койки, про сосѣдей.

Сердце еще чаще забилося. Проснулась страсть. Совсѣмъ опьянѣлъ. „Любить, любить и любить!“ Стучало въ вискахъ, въ горячемъ молodomъ сердцѣ.

„Схватить, сдѣлать больно, больно“... Такъ хотѣлось пьяному разсудку, лихорадочно возбужденному тѣлу. Казалось, что послѣ этого станетъ легче, спокойно-спокойно.

Мнѣ нехватало воздуха. Нечѣмъ дышать.

Подошелъ къ окну. Вздохнулъ полною грудью. Немного отрезвѣлъ.

„Она умерла трепеща въ камышахъ“... Вспомнилъ предостерегающія слова романа.

„Нѣтъ, ни за что до тѣхъ поръ, пока не станеть женой...“ протестовалъ уже отрезвляющійся умъ. „Кто любить, не увлекается, а кто дѣйствительно любить, тотъ не грабитъ, не нападаетъ какъ звѣрь“, говорило юношеское, непорочное, чистое сознаніе. Страсть улеглась. Сердце еще прыгало, рѣзвилось, но эти прыжки были уже наивные, дѣтскіе.

На смѣну страсти пришла поэтическая мечтательность, красивая, благороднѣйшая греза...

* * *

— Завтра, наконецъ, меня выпишутъ. Докторъ Макаровъ сказалъ, что я уже совсѣмъ молодцомъ. Разрѣшили одѣваться.

Прислали отъ портного новое военное платье, высокіе шагреновые сапоги, новую кавалерійскую шинель. На шинели въ петлицѣ вшита георгіевская ленточка. Одѣлся, посмотрѣлъ въ зеркало. Платье сидѣло идеально, нехватало лишь шпоръ, что меня, признаюсь, огорчало. Чувствовалась незаконченность какая-то.

„Ну, ничего“, утѣшалъ себя: „буду офицеромъ, все будетъ: и шпоры съ малиновымъ звономъ, и настоящіе погоны—серебряные съ золотыми звѣздочками“. Свои погоны, хотя тоже съ двумя серебряными нашивками, что тоже не такъ плохо выглядѣло, я считалъ временными, не надолго. Больничный костыль я оставилъ. Сегодня хожу съ хорошей, массивной, сучковатой палкой,

которую въ память о лазаретѣ и о немъ, докторъ, мнѣ подарилъ Макаровъ.

Надѣлъ фуражку и, осмотрѣвъ себя въ зеркало еще разъ, солидно, съ достоинствомъ, чуть опираясь на палку, пошелъ пройти немного по улицѣ. Но я солгалъ. Такъ я заявилъ больничному начальству, на самомъ же дѣлѣ я шелъ къ своей Лиди, къ ея подругамъ. Представиться настоящимъ военнымъ. Кругомъ почетъ и уваженіе. Отдаютъ честь, честь моему георгіевскому кресту, казаки, урядники, вахмистры, офицеры. Я въ душѣ важничая, хотя это не подчеркиваю, не рисуюсь. Съ своей стороны отдаю честь лишь глазами, поворотомъ головы. Глазами смотрю дерзко, вызывая. Не скрою мальчишескаго чувства—я хотѣлъ встрѣчать какъ можно больше офицеровъ, не молодыхъ, а постарше, вскидывать въ ихъ сторону голову, а глазами издѣваться, требовать: „полковникъ, честь! Не забывайте, молю... Я кавалеръ“...

Какъ наивно, какъ глупо. Какое мальчишество, зелень. Вспоминаешь и какъ-то не вѣрится. Но такъ было, сознаюсь.

Подъ вечеръ прихожу въ лазаретъ. Навстрѣчу бѣжитъ возбужденная, веселая сестра—дочь доктора Макарова, гимназистка старшаго класса, закадычный мой другъ дѣтства, школьных, счастливыхъ лѣтъ.

— Глѣбъ, ты былъ у Лиды? Ахъ, вотъ глупая, спрашиваю еще.—Я подтверждаю, улыбаюсь. И сейчасъ же задаю ей лукавый вопросъ:

— А ты что, никакъ ревнуешь?

— Фуй, какъ тебѣ не стыдно, Глѣбъ?! Ты

же вѣдь знаешь меня и наши отношенія съ Лидушкой.

— Все это такъ, Маруся,—дразню я ее.—Отношенія ваши—дѣло одно. Возможно, ты Лиду любишь. Но что у тебя сидитъ тутъ (и я показалъ на лѣвую сторону ея груди) я вотъ не знаю... Загадка. Не знаетъ этого и моя Лидушка.

„Мой другъ“ вспыхнула, покраснѣла, заплакала.

— Глѣбъ, какой ты сталъ гадкій, дерзкій, нахальный...

Но она успокоилась, когда я попросилъ простить мою дерзкую шутку, и, вспомнивъ зачѣмъ искала меня, сообщила:

— Глѣбъ, твой папа пріѣхалъ! Заходилъ сюда два раза... Теперь онъ у насъ.

Больше я не слушалъ. „Папа здѣсь, не выдержалъ, пріѣхалъ... Только бы не расплакаться. Пусть онъ увидитъ въ сынѣ мужчину, стойкаго мужественнаго. Настоящаго казака. Поплачу потомъ, дома, но только не въ гостяхъ“...

Съ этими мыслями я вскочилъ на извозчика.. Съ ними и взбѣжалъ на крыльцо макаровскаго дома.

— Здравствуйте, Наталія Петровна...

— Здравствуй, голубчикъ, здравствуй. Въ кабинетъ твой папа... проходи туда, проходи, родной, — нѣжно, съ материнской лаской и любовью говорила докторша, подавая для поцѣлуя изыщную, холеную руку.

Посмотрѣла на мой серебряный крестикъ, на мундиръ... улыбнулась...

— Ай, ай, какъ ты возмужалъ. Совсѣмъ молодецъ,—сказала она, а въ глазахъ блеснула лукавый огонекъ.

— Ну, иди-жъ скорѣй! — и она довольная, улыбаясь, быстро скрылась за дверь.

Я подошелъ къ кабинету, перекрестился, а затѣмъ смѣло, стараясь быть наружно спокойнымъ, постучалъ.

— Да, да! — послышался въ отвѣтъ знакомый голосъ хозяина.

Я вошелъ. Отецъ улыбнулся, но, какъ и я, сохранялъ выдержку.

Макаровъ всталъ и, сдѣлавъ шагъ въ мою сторону, остановился.

Я глянулъ ему прямо въ глаза и отчеканилъ по военному:

— Здравія желаю, господинъ полковникъ. По вашему приказанію честь имѣю явиться...

— Здравствуйте, урядникъ, — отвѣтилъ улыбаясь докторъ и подалъ мнѣ руку. — А теперь оставимъ дисциплину и будемъ просто друзьями, — пояснилъ онъ.

И докторъ Макаровъ сталъ уже просто Владиміромъ Захарьевичемъ, близкимъ, хорошимъ знакомымъ, милымъ докторомъ—другомъ. Владиміръ Захарьевичъ взялъ меня подъ руку, подвелъ къ отцу и съ тою же улыбкой, вотъ-вотъ собираясь во всю разразиться смѣхомъ, представилъ меня какъ незнакомаго... сына своему же отцу.

— Петръ Николаевичъ, будьте знакомы... Сынъ моего пріятеля, ветеринарнаго врача, урядникъ и георгіевскій кавалеръ.

Отецъ разсмѣялся. На глазахъ у него на-
вернулись слезы. Не выдержалъ.

Макаровъ такъ и заржалъ отъ удовольствія
и не желая, вѣроятно, мѣшать намъ, покинулъ
кабинетъ. Мы остались вдвоемъ.

И я не сохранилъ равновѣсія. Въ горлѣ что-
то щекотало, першило, дѣлались спазмы... Бро-
сивъ свою палку на диванъ, я кинулся къ отцу
въ объятія.

— Подожди, Глѣбъ,—сказалъ отецъ, осво-
бождаясь изъ моихъ объятій.

Отецъ опустился на колѣно, перекрестился
и, поцѣловавъ на моей груди серебряный кре-
стикъ, съ глазами, полными слезъ умиленія и
счастья, промолвилъ:

— Спасибо, Глѣбъ! Горжусь...—И поднявшись,
онъ подалъ мнѣ руку, какъ равному равный.

— Я горжусь не тѣмъ, что у тебя на груди
Георгій, — нѣтъ! Я преклоняюсь передъ вашей
жертвенностью, предъ крестами на „Пирамидахъ“.

Въ кабинетъ вошли Наталія Петровна и док-
торъ.

— Владиміръ, ты правъ, — сказалъ отецъ и
расцѣловался со своимъ другомъ.

Отецъ плакалъ, по лицу скатывались круп-
ными каплями слезы.

Въ чемъ былъ правъ докторъ, не знаю. Это
осталось тайной для меня.

— Папа, а какъ мама, наши?—спросилъ я у
отца.—Все благополучно?

— О благополучіи еще поговоримъ, раз-
скажу. А мать и сестра здоровы. Завтра уви-
дишься. Тоже пріѣдутъ сюда.

— Ну, идемъ, потомъ поговорите,—перебила Наталія Петровна и повела насъ въ гостиную, откуда неслись звуки „Лунной сонаты“ Бетховена.

— Bravo, bravo,—одобрилъ отецъ піанистку, прервавшую игру при нашемъ появленіи.

— Глѣбъ, спой что-нибудь,—предложилъ мнѣ отецъ,—давно ужъ не слышалъ... Маруся, проакомпанируешь?

— Конечно, конечно, — конфузливо, но съ охотой отвѣтила она.

— А что будешь пѣть?—обратилась она ко мнѣ, усаживаясь къ роялю. И, не дожидаясь моего отвѣта, попросила:

— Глѣбъ, спой что-нибудь народное, но только не сантиментальное, Глѣбъ, будь другомъ, не надо про любовь,—сказала она чуть слышно, умоляюще.

— Хорошо,—отвѣтилъ я ей и запѣлъ:

Всколыхнулся, взволновался,
Православный Тихій Донъ...

Кончена пѣсня. Послѣдніе аккорды... Маруся встала...

Разговоръ перешелъ на злободневную, животрепещущую тему. Заговорили о войнѣ, о войсковомъ кругѣ, о политикѣ, о прошлыхъ дѣлахъ студенческой жизни, о чаяніяхъ, о томъ, чего когда-то имъ хотѣлось въ студенческіе годы, и за что теперь такъ жестоко приходится расплачиваться.

— Мечты и факты, настоящее. Какая ужасная, кровавая дѣйствительность, дорогой мой урядникъ... Кровь ваша на насъ, на вашихъ от-

цахъ,—сказаль на прощанье докторъ, желая мнѣ пріятныхъ сновидѣній, а папѣ покойной ночи, крѣпкаго здороваго сна...

* * *

— На слѣдующій день пріѣхали мать и сестра. Вскорѣ купили въ Усть-Медвѣдицкой домъ и зажили въ новомъ гнѣздѣ жизнью городской, нервной, порою веселой; жизнью фронта, его успѣхами, политическими новостями...

Отецъ устроился на службу при Управленіи окружного атамана. На имѣніи поставили крестъ и всѣ дѣла по имѣнію передали казаку-управляющему, такъ какъ отъ владѣнія, кромѣ земли да обгорѣлыхъ строеній, ничего не осталось.

— Все рухнуло вмѣстѣ съ прошлымъ, со старымъ,—такъ лаконически объяснилъ мнѣ отецъ въ тотъ исключительный, памятный вечеръ у Макаровыхъ, въ вечеръ нашей съ нимъ трогательной встрѣчи.

Больше про имѣніе онъ мнѣ ничего не сказалъ. Мать и сестра тоже ничего не знали—онѣ были въ станицѣ Березовской и потому, къ счастью своему, этой жуткой картины опустошенія и разгрома не видѣли.

Вотъ что мнѣ позже разсказаль очевидецъ о разгромѣ имѣнія, объ его раздѣлѣ, какъ называли громилы этотъ свой гнусный произволъ:

— Цѣ було у нидили... Писля обѣдни, на мытингу, на сходи наши слобидчане уси, бильшинствомъ голосівъ, порѣшылы подѣлыты усю вашу худобу, всѣ ваше иминье,—началь хохоль эту жуткую повѣсть.

— Що жъ, чимъ я горшѣ другихъ. Пишовъ

разомъ и я. Прышлы. Спочалы дэлыты. Кому быкивъ, кому свынью, кому корову, кому драпаны... Дэлылы, дэлылы тай и подралысь. Почалось настоящее свитопреставленіе...

Хохоль перекрестился, почесаль затылокъ и сталь, со свойственнымъ малороссу спокойствіемъ, рисовать картину человѣческой жестокости и безумства.

Чтобы никому не было обиды, раздраженные, взбѣшенные неудающимъ дѣломъ, „христьяне“, какъ хохлы называютъ себя вмѣсто „крестьяне“, начали убивать неподдающійся дѣлѣжкѣ „проклятый“ скотъ: вспарывали косами, вилами брюхи, рубили топорами ноги, позвонки, нещадно увѣчили несчастныхъ животныхъ.

Скотина, лошади, птицы, собаки подняли ревъ, лай, ржанье...

Вырывались на пашню, чтобы тамъ спастись отъ истязателей, но, путаясь въ своихъ волочащихся по землѣ внутренностяхъ, падали, вскакивали, снова неслись дальше, падали опять, чтобы больше уже не подняться...

Амбары съ зерномъ, скирды соломы, сѣновалы—зажгли. Но, когда начался пожаръ, крестьяне почему то, вдругъ, вздумали его тушить.

Вызвали пожарную команду и, представьте себѣ, тушили самоотверженно, не щадя ни своего платья, ни даже своей собственной жизни...

Многое сгорѣло. Половину же имѣнія они отстояли. Потушили... Попристрѣлили недобитыхъ животныхъ, мучившихся въ агоніи, и сами, мучимые угрызениемъ совѣсти, громилы покинули имѣніе. Вернулись въ слободу.

А на вечернѣ, въ церкви, замаливали свое непонятное, безсмысленное, нечеловѣчески-жестокое преступленіе...

Закончивъ свою кровавую и вѣстѣ съ тѣмъ такую исключительную повѣсть, хохоль нѣсколько разъ перекрестился и громко, съ чувствомъ, отъ сердца, произнесъ: „Боже, помилуй... Прости, Матерь Божья“...

Посмотрѣлъ я на него, не какъ на зрителя со стороны этого чудовищнаго злодѣйства, а на принимавшаго въ немъ активное, „дѣятельное“ участіе, посмотрѣлъ ему въ лицо, въ его глаза и мнѣ не вѣрилось, чтобы этотъ человѣкъ съ такими чистыми глазами, съ такимъ спокойнымъ лицомъ русскихъ святителей, былъ бы способенъ потрошить живьемъ ни въ чемъ неповинныхъ животныхъ.

И мнѣ стало жаль его, этого большого ребенка, такого непонятнаго, страннаго...

И у меня до боли сжалось сердце за Россію,

* * *

— За пару дней до окончанія моего отпуска, сказалъ мнѣ отецъ: „Въ отрядъ ты больше не пойдешь. Пойдемъ въ кабинетъ. Я долженъ серьезно поговорить съ тобою...“

Съ фронта поступали нехорошія вѣсти. Возстаніе бѣлыхъ въ Россіи не вспыхивало, наоборотъ, силы красныхъ все болѣе и болѣе увеличивались. Борьба затягивалась.

— Ты знаешь, дорогой мой Глѣбъ,^в— началъ отецъ, ^вкогда мы очутились въ кабинетъ. — Я народникъ, социалистъ, земецъ, и все это время, со студенческихъ лѣтъ, съ нетерпѣніемъ ожидалъ

того великаго дня народнаго счастья, который назывался именемъ святымъ и самымъ близкимъ, роднымъ и желательнѣйшимъ для насъ, народниковъ, именемъ — Революціа. Да, я хотѣлъ революціи.

— Прости меня, Глѣбъ. Конечно, царей и царевыхъ слугъ я не убивалъ, но этотъ день подготавливалъ, приближалъ, какъ и все большинство нашей слѣпой, въ этомъ я теперь убѣдился, интеллигенціи.

— Ты помнишь: „кровь ваша на насъ“, сказалъ тебѣ папа Маруси, и онъ правъ. Онъ тоже земець, какъ и я.

— Кровь твоя и на мнѣ, дорогой мой, родной, мой единственный Глѣбъ.

— Объ имѣніи я не сожалею. Оно не мое. Я давно его предназначилъ народу. Но мнѣ больно и какъ больно, мой милый урядникъ, за этотъ самый народъ — больной, обезумѣвшій.

— Глѣбъ, наша Россія въ горячкѣ, охвачена все разрушающимъ, все сметающимъ порывомъ. И сила этого порыва сверхъестественная, дьявольская, чудовищная. Мнѣ приходилось наблюдать однажды больного въ горячкѣ. Три дюжихъ мужика съ трудомъ справились съ нимъ. Его связали. Связали грубо, крѣпко, безжалостно. Да, другого выхода и не было. Вотъ въ такой же горячкѣ сейчасъ и нашъ русскій мужикъ. Массовый бредъ, бунтъ миллионнаго стада.

Отецъ поникъ головой и продолжалъ со вздохомъ:

— Вы, добровольцы, и наше казачество рѣшили на бѣснующуюся Россію надѣть смиритель-

ную рубашку. Съ этимъ я согласенъ. Этого требуетъ долгъ здоровыхъ людей. Но, Глѣбъ, я видѣлъ своими глазами, что на одного, охваченнаго буйствомъ, потребовалось три здоровыхъ мужчины. Хватить ли у насъ силы, чтобы обуздать миллионы?!

Онъ съ сомнѣніемъ покачалъ головой.

— Было бы, конечно, цѣлесообразно дать волю больному и поддакивать ему, (чтобъ на тебя не набросился). Пусть, молъ, бьетъ, грабитъ, сжигаетъ, разрушаетъ. Переболѣтъ, придетъ въ себя, и все затѣмъ постепенно уладится. Самъ же все снова отстроить. Но съ точки зрѣнія человѣчности, это разсужденіе ниже критики. А съ государственной, это равносильно обнищанію, регрессу—шагу назадъ, на много, много десятковъ лѣтъ. Мы возстали, но этихъ миллионовъ мы не свяжемъ. И насъ раздавятъ. Мы станемъ мучениками, жертвой за счастье, за жизнь жалкихъ, бѣснующихся массъ.. Ленинъ, коммунисты поддакиваютъ этимъ больнымъ и они, эти бредящіе миллионы, ихъ восхваляютъ. Ленинъ и вся его компанія антиморальны и преслѣдуютъ одну только цѣль — власть. Власть во что бы то ни стало и какой угодно цѣной. И они, эти фанатики, — сами люди больные, побѣдятъ. Подло, преступно, но побѣдятъ. Они все разрѣшаютъ, во всемъ поощряютъ, мало того, разжигаютъ больныя страсти русскаго мужика и рабочаго. Этимъ гнуснымъ приѣмомъ они спасаютъ себя и становятся въ роли вожаковъ, чтобы, когда мужикъ станетъ приходить въ сознаніе, — надѣтъ на него цѣпи рабства, оковы неосуществимой коммуны. И не при-

дётся ли народу снова бунтоваться, чтобы высвободиться изъ путъ новой барщины. А дальше, — опять чья то лапа. Какой то проклятый заколдованный кругъ.

Отецъ помолчалъ, какъ бы собирая мысли, и продолжалъ задумчиво:

— Хорошо, если найдется въ тотъ моментъ, послѣ большевиковъ, сильный, волевой, любящій Россію и народъ человѣкъ, русскій Наполеонъ, который дастъ народу счастье, свободу, а Родину поведетъ къ величію и славѣ... А если нѣтъ...

И отецъ погрузился въ глубокое раздумье.

— Глѣбъ, — прерывая свое молчаніе, сказалъ мнѣ отецъ: — Мы не побѣдимъ. Въ этомъ я глубоко, глубоко убѣжденъ. Наполеона сейчасъ я не вижу. Итакъ, скажи мнѣ, хочешь ли ты умереть напрасно, ни за понюхъ табаку?!

— Тебѣ шестнадцать лѣтъ. Вамъ не помочь, ибо дѣло принимаетъ сейчасъ такой серьезный оборотъ, гдѣ ваше участіе ничто. Мнѣ жаль тебя. Жаль, какъ своего единственнаго сына — это одно, но не думай, что только ради этого я тебя отговариваю. Поживешь — увидишь. То, что я тебѣ говорю, — такъ и будетъ. О, какъ я хотѣлъ бы, чтобы мои предположенія не сбылись!

Отецъ положилъ мнѣ руку на плечо и продолжалъ твердо:

— Если ты хочешь дѣйствительно быть полезнымъ народу, Россіи — сбереги свою жизнь для другого момента, а пока присматривайся, мужайся, крѣпни, учись. Отъ службы я тебя не отстраняю. Ты будешь полезенъ и въ тылу. Да и

гдѣ этотъ тылъ въ настоящій моментъ?! Мы будемъ служить вмѣстѣ съ тобой. А вотъ и назначеніе тебѣ...—Съ этими словами онъ передалъ мнѣ бумагу.

Я былъ назначенъ въ распоряженіе начальника связи при Управленіи окружного атамана.

Новая служба оказалась не только не легкой, какъ я себѣ вначалѣ представлялъ, а тяжелой отвѣтственной работой...

Эта служба сохранила мнѣ жизнь, которая несомнѣнно погибла бы, какъ, кажется, погибъ весь отрядъ нашъ, напрасно, ни за что...

* * *

— Моя „бѣлая пелеринка“ вскорѣ уѣхала къ себѣ, къ своимъ роднымъ, въ Глазуновскую. Уѣхала не попрощавшись — я былъ въ отъѣздѣ по дѣламъ службы. Оставила письмо — свою надежду стать вскорѣ моей, свою кѣжную, пламенную любовь безъ конца, безъ счета поцѣлуи и пожеланіе отъ маленькаго, любящаго сердечка всего мнѣ наилучшаго.

Долго, года два я хранилъ это письмо въ моемъ бумажникѣ, въ лѣвомъ боковомъ карманѣ, у самаго сердца.

А потомъ выбросилъ его, какъ ничего незначащую пустую бумажку. Въ сердцѣ была пустота. Не потому, что я влюбился въ другую, нѣтъ. Я вообще никого не любилъ. Я Лидію вспоминалъ довольно часто, стараясь провѣрить себя, думалъ: неужели можетъ такъ быть, чтобы образъ любимой сталъ такимъ безразличнымъ, ничего, абсолютно ничего не говорящимъ. И я убѣдился, что это такъ.

Лидію я не забуль, не забуль и ея вначалѣ робкихъ, а потомъ жгучихъ поцѣлуевъ, не забуль и ея груди, молодыя, упругія, дѣвичьи, но почему - то на все это, что когда то опьяняло, мутило въ глазахъ, сердце молчить, не трепещеть.

И многое, многое, что должно было бы трогать до слезъ, волновать душу, — стало позднѣе для меня безразличнымъ, далекимъ, какъ сѣрый ничего не говорящій, ушедшій въ прошлое, будній день.

* * *

— Фортуна стала измѣнять намъ. Верхнедонцы, первые поднявшіе на сѣверѣ Дона возстаніе, поддавшись завѣреніямъ совѣтскихъ агитаторовъ, что все, моль-де, имъ будетъ прощено, забыто, — сдались, пріавъ мирно власть „народныхъ“ комиссаровъ.

Этой измѣной они, какъ говорится, всадили въ спину намъ ножъ, оголили лѣвый флангъ нашего фронта.

Еще бы сутки-другія, и мы были бы взяты въ кольцо. Надо было отступать немедленно, бѣжать какъ можно скорѣй.

Помню холодный декабрьскій день...

Утромъ, вернувшись съ фронта домой, я засталъ маму въ слезахъ, взволнованную, разбитую. Она что-то прятала подъ полъ, о чемъ на кухнѣ свидѣтельствовали аккуратно оторванные половицы, лежавшія тутъ-же около отверстия. Ни кухарки, ни горничной не было въ домѣ. Ихъ, какъ потомъ я узналъ, мама откомандировала нарочно,

чтобы не мѣшали работѣ, за которой я и засталъ ее.

Сестра казалась болѣе спокойной, не плакала. Навѣрно уже выплакалась. Она только принесла изъ столовой корзину съ серебромъ — разныя дорогія, старинныя вещи.

— Ну, наконецъ-то! — сказала мама подбѣгая ко мнѣ и цѣлуя. — А я ужъ думала...—она уткнулась лицомъ ко мнѣ въ плечо и дальше ужъ не говорила, а какъ то вырывала вмѣстѣ съ рыданіемъ изъ горла отдѣльныя слова.

— Что... Ты... нне... Успѣешь... И по-оп-рощаться...

Заплакала и сестра. И, поставивъ корзину на полъ, убѣжала въ свою комнату.

Я держалъ мать крѣпко за талію и вдругъ почувствовалъ, что она виснеть у меня на рукахъ, что ноги ея подкосились.

— Отецъ... Уже... — плечи ея вздрагивали все сильнѣе и рѣзче.

— Уфъ-ха-а-а-а... А-а!.. А!.. А!..

При послѣднемъ словѣ спазмы окончательно сжали ея грудь, горло, и мама, забившись какъ птица, упала въ обморокъ...

Никогда до этого дня мнѣ не случилось видѣть людей въ такомъ состояніи. Мнѣ показалось, что мать умираетъ и, что, вотъ-вотъ, минута, другая — все кончено.

Что дѣлать? Искать какія-то капли, соли, нашатырь — долгая исторія. Да и найдешь ли ихъ, когда не знаешь, гдѣ все это искать.

„Брызнуть холодной водой!“ Вспомнилъ я. И, ничего дальше не соображая, я схватилъ пол-

ное ведро съ холодной, ледяной водой и всю воду, до дна, опрокинулъ на ея грудь и лицо.

— „Ай!“ чуть не захлебнувшись водой, вскрикнула мама. Глаза открылись, опомнилась. Поднялась. Съела.

Зубы стучать мелкой дробью, а глаза, какіе-то блуждающіе, ничего не понимаютъ.

Съ волосъ струится вода, блузка прилипла къ тѣлу — ну, настоящій утопленникъ, только-что вытасченный изъ воды.

— Глѣбъ, что это такое? Я упала въ обморокъ? — спрашиваетъ у меня, какъ будто она и не теряла сознанія. Я подаю ей руки, чтобы поднять. Встала. Дрожить.

— Ой, какъ холодно, Глѣбъ. Замерзаю. И такая слабость...— Она зѣвнула, словно ее разбудили отъ пріятнаго, сладкаго сна.

— Спать хочется.. А тебѣ не пора? — вспомнила сна, взглянувъ на оторванную половицу.

— Глѣбъ, золото все уже спрятано. Отведи сейчасъ меня въ спальню, а самъ, пока служанки не пришли, — Богъ ихъ знаетъ, что у нихъ на умѣ, — уложи серебро и заколоти доски.

Проводивъ мать въ спальню, зашелъ къ сестрѣ. Плачетъ. Голова межъ подушекъ, чтобъ не было слышно. Поднялъ ее. Ободрилъ. И, объяснивъ ей, что случилось съ мамой, направилъ ее къ ней.

Принялся за серебро. Надо было торопиться. Часа черезъ три-четыре должны войти красные. Наконецъ, все въ порядкѣ. Мои столярныя способности и практика пригодились. Доски при-

гнаны на мѣсто, забиты, будто ихъ никто и никогда не отрывалъ.

Пошелъ прощаться.

— Ну, мама, не плачь. Все будетъ хорошо. Вѣрь мнѣ, мы уходимъ на недѣлю—не больше. Вѣдь ты знаешь, что это все изъ-за вѣшенцевъ*). Надо выравнять фронтъ, а потомъ мы ихъ снова отбросимъ...

Мама, хотя и плакала еще, но была спокойнѣй. Навѣрно потому, что ослабѣла. Успокоилась и сестра, боясь за мамино здоровье.

— И ты, Клава, будь молодцомъ. Вѣдь всѣ же остаются. Не однѣ вы. Вѣрьте, молитесь. Все Богъ... И Жидковы остаются, и всѣ батюшки, и Макаровы, и Поповы, и Васильевы. Да и что считать?! Всѣ остаются, вся станица...

Успокоились. Повѣрили видно. Пришла Марфа-кухарка. Слышно, какъ накрываетъ столъ „для молодого барина“.

Мама пробуетъ улыбнуться... Старается доказать мнѣ, что она „пай“-казачка.

— Ну, присядь. Такъ полагается по русскому христіанскому обычаю передъ дорогой,—говорить мнѣ мама.

Сѣлъ. Сестра сѣла тоже. Вижу—любуются своимъ молодымъ „воякой“. Прошло минутъ пять гробового молчанія. Вошла Марфа. Своя, наша Марфушка, какъ мы ее называли. Къ намъ она поступила, когда меня еще не было, когда обо мнѣ въ медовый мѣсяцъ только „думали-гадали“. У насъ она научилась готовить и у насъ

*) Верхне-донскіе казаки.

отпраздновала свои пятьдесятъ вторыя именины.

— Пушки скачутъ какъ бѣшенныя, — доложила намъ Марфушка и, видно порѣшивъ, что ужъ если „пушки скачутъ“, такъ стало быть „жарко“ — близко красныя, — добавила, обращаясь ко мнѣ:

— А не пора вамъ, баринъ, въ дорогу?

— Успѣю, Марфушка, будь покойна. А ты, смотри, свою барыню въ обиду не давай! Жалѣй, какъ всегда. Утѣшай ее. Гляди, чтобъ не плакали онѣ здѣсь безъ насъ, — улыбаясь и указывая глазами на маму съ сестрой, отвѣтилъ я ей, нашей милой, родной и дорогой старушкѣ.

Марфушка размякла. Засморкалась, заплакала, вытирая передникомъ свои мокрые, покраснѣвшіе глаза.

— А теперь давай помолимся, — поднимаясь съ кровати, сказала мама, и мы всѣ, а съ нами и Марфушка, опустились на колѣни.

— Живыи въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога Небеснаго водворится, — начала мама царя Давида псаломъ девяностый.

Эту молитву у насъ знаетъ каждый казакъ, въ нее вѣрятъ, какъ въ чудодѣйственную спасительную силу.

— На аспида и василійска наступиши и попереши льва и змія.

— Падетъ отъ страны твоя тысяща и тьма одесную, къ тебѣ же не приблизится...

— Воззоветъ ко мнѣ и услышу его; съ нимъ есмь въ скорби; изыму его и прославлю его...

— И явлю ему спасеніе мое...

Молитва прочитана въ третій разъ. Встали. Осѣняя меня крестнымъ знаменіемъ, мать надѣла мнѣ на шею золотой, мой крестильный маленький крестъ и сказала:

— Вотъ тебѣ мое благословеніе. Вѣруй въ Бога, вѣрь въ Его мощь, и Господь Всевышній тебя сохранитъ отъ бѣдствій, отъ пули, меча.

Попрощались. На ходу закусиль, чтобы не обидѣть старушку-кухарку и, одѣвшись, быстрыми шагами направился къ выходу.

— А ты не забѣжишь еще? — кинула мнѣ мама вдогонку.

— Заскачу,—отвѣтилъ я ей обернувшись и инстинктивно, по привычкѣ, помахавъ на прощанье рукой, покинулъ своихъ, уютъ, ласку, тепло.

На дворѣ бушевала мятель, швыряя въ лицо снѣгомъ, какъ дробленнымъ стекломъ, колючимъ и холоднымъ.

Я вскочилъ на своего „Козлика“ и помчался къ Управленію.

По Воскресенской, гремя желѣзомъ, на рысяхъ прошла полевая артиллерія. Все время, обгоняя другъ друга, мчатся тройки, пары, унося съ собой станичную знать, зажиточныхъ казаковъ. Отступали, какъ говорится въ печати, на нѣсколько дней. Въ этомъ почему-то былъ каждый увѣренъ и поэтому уѣзжали налегкѣ съ маленькими дорожными чемоданами. Семьи—жены, дѣтвора оставались въ станицѣ. Вывести дѣтей въ такой трескучій морозъ, хотя бы на недѣлю, никто не рѣшался. Это одно. Второе и, вѣроятно,

самое главное, это внезапность отступленія. Да и домъ оставить безъ присмотра, а слѣдовательно, вернувшись, ничего въ немъ не найти, было обидно и жалко...

Въ Управленіи атамана холодно, пустынно. Груда изорванныхъ бумагъ, поломанные ящики, которые, какъ и бумаги, оказались ненужными.

Сукно и кожа съ письменныхъ столовъ, бархатъ съ кресель въ кабинетахъ посорваны, срѣзаны.

Сняты съ оконъ занавѣски. На обояхъ стѣнъ цвѣтнымъ карандашомъ — кто-то изъ писарей хвастнулъ своей „грамотностью“ и хамствомъ — написаны размашистымъ почеркомъ однословныя похабныя русскія ругательства.

Управленіе атамана уже было оставлено еще ночью, такъ сказать, загодя.

Часа черезъ три-четыре въ станицу вошла кавалерія. Больше нашихъ частей за Дономъ уже не было.

Конные полки задержались въ станицѣ около часу, разгромили винный казенный складъ и, запасаясь водкой и спиртомъ, показали хвосты, весьма довольные своей добычей.

Уходилъ послѣдній полкъ. Красные заняли Березки, но вступать въ станицу медлили, видно не желая столкновенія. Все равно, молъ, уйдутъ. А водки хватить и на ихъ долю.

Въ этомъ отношеніи наши винные склады вполне могли гордиться, такъ какъ этого добра было въ нихъ, минимумъ, на пару дивизій.

Уходя изъ станицы, я хотѣлъ было забѣжать домой, но вспомнивъ, что это опять вызо-

ветъ истерику, слезы, поскакалъ за полкомъ къ „Пирамидамъ“.

„Козликъ“ несется, что вѣтеръ. На сердцѣ тоскливо. Въ мысляхъ полнѣйшій хаосъ. Больно оставлять своихъ близкихъ. Тяжело оставлять родныя мѣста...

Вотъ и „Пирамиды“, высокій, бѣлый крестъ, братская могила моихъ школьныхъ товарищей. „Спятъ Алексѣевцы родные, орлята Дона, рыцари степные“...—Вспомнилъ слова нашего донского писателя Крюкова.

Перекрестился на крестъ. Поравнялся съ могилой и черезъ секунду все осталось позади.

А впереди снѣжные заносы, вьюга вьющая, новые хутора и станицы, неизвѣстность...

* * *

— Станція Обливы... Изъ „краснаго мѣшка“ мы все еще не выскочили. Оставаться на станціи на милость побѣдителя невысказуемо, невозможно. Лучше было бы остаться въ станицѣ, не отступать. Это было бы изъ двухъ золъ наименьшимъ. Но теперь... Теперь у всѣхъ, у большинства, одна только мысль и одно желаніе во что бы то ни стало завладѣть поѣздомъ, вскочить въ вагонъ, на крышу вагона, хотя бы на буферъ...

Наше Управленіе и станичная знать уже проскочила. Уѣхала. На станціи остались лишь тѣ, которые не хотѣли разставаться съ санями, кто думалъ продвигаться на лошадиныхъ парахъ.

Станція кишмя-кишитъ. Въ валенцахъ, въ шубахъ, въ полушубкахъ тысячная толпа сѣдобородыхъ стариковъ. Раскраснѣвшіяся, заиндевѣлая лица. Обледенѣлая борода, усы—сосульки.

А кругомъ станціи, въ хуторѣ, по бокамъ желѣзнодорожнаго полотна—настоящая ярмарочная картина.

Если бы не зима, не трескучій морозъ, если бы это скопленіе было не у желѣзнодорожнаго зданія, а главное, если бы не доносящіеся со стороны обхода артиллерійскіе выстрѣлы и разрывы, если бы не конные полки, тутъ же остановившіеся на полчаса, на отдыхъ — этотъ многолюдный таборъ иначе и нельзя было бы окрестить, какъ словомъ „ярмарка“. Даже и сейчасъ, въ такой исключительно тревожной обстановкѣ люди покупали, мѣняли, продавали. Мѣнялись лошадьми, мѣнялись санями, а болѣе оптимистически настроенные, увѣренные, что въ поѣздъ обязательно попадутъ, и то и другое продавали дешево, зачастую за полцѣны, за безцѣнокъ...

Поѣзда на станціи не было. Ожидался съ минуты на минуту.

Но вотъ, наконецъ, и онъ, долгожданный свистокъ. Вдали показался дымъ, темное пятно, которое, все увеличиваясь и приближаясь къ станціи, растягивалось въ красную длинную ленту товарныхъ вагоновъ.

Поѣздъ на станціи. Остановился. Два паровоза и до шестидесяти товарныхъ вагоновъ и нѣсколько теплушекъ.

Море папахъ заволновалось, зарокотало. Забыта мѣна, купля, продажа. Толпа ринулась къ поѣзду, кинувъ лошадей и сани—все для обливцевъ, для красныхъ.

„Кто то поживится,“—подумалъ я. „А не все

ли равно?.. Позади дома, брошенные семьи, самое дорогое, единственное. Несравненно болѣе цѣнное, чѣмъ эти животныя...“

А выстрѣлы все ближе, отчетливѣй... Кругъ суживается. Успѣютъ ли?..

* * *

— „По конямъ! Садись!..“ Раздалась команда, мигомъ разсѣявъ всѣ размышленія.

Волею судьбы я вновь попалъ въ дѣйствующую часть, влился въ сотню отступающей бригады. По три, растянувшись на версту, бригада поднялась впередъ, вдоль линіи желѣзной дороги, на югъ...

Верстахъ въ пятнадцать отъ Обливъ столкнулись съ красными. Дали бой. Отбросили. Выскочили изъ мѣшка. Проскочилъ и поѣздъ...

И началось „выравчиваніе“ фронта... Переходы, отдыхъ, маленькій бой, отходъ. Снова отдыхъ, опять переходы...

Извнѣ, снаружи — стужа, бои... Въ тылу — разгулъ сыпняка, паника, пьянство... А ближе — за рубахой, вездѣ, въ каждой складкѣ одежды залегли цѣпи вшей, то крохотныхъ, еле замѣтныхъ, то величиной съ хорошее пшеничное зерно...

Въ такой обстановкѣ вшей не искоренить. И всѣ къ нимъ привыкли, даже стали ими развлекаться — устраивать „бѣга“, играть въ тотализаторъ. Чья, молъ, къ старту скорѣе придетъ?.. Къ побѣдительницамъ въ этихъ своеобразныхъ „бѣгахъ“ относились съ особымъ трогательнымъ вниманіемъ и заботой. Фаворитку бережно заворачивали въ бумажку и носили въ спичечной

коробкѣ, какъ какую-нибудь жемчужину, драгоценность.

И было тогда какъ-то весело, все казалось смѣшнымъ. „Юморъ“ войны... Смѣшное въ жуткомъ...

* * *

— Январь, февраль... Станица Ягорлыцкая. Опять съ отцомъ, въ кругу знакомыхъ станичниковъ. Съ „бѣгами“ покончилъ совсѣмъ, т. е. не совсѣмъ, но вшей стало много меньше.

До того меньше, что ихъ присутствіе стало меня раздражать, появилась брезгливость. Я становился снова человѣкомъ...

Февраль на исходѣ. Въ воздухѣ завеснѣло, запахло перегноемъ. Отъ земли подымался паръ опьяняющій и разумъ и сердце. Въ кровь вливалась какая-то сила, просыпались желанія любить, ни о чемъ не думая, бросать сѣмя для всходовъ, размножаться...

Въ воскресенье познакомился съ хорошенькой молодой дѣвушкой. Долго говорили. Разсказаль о себѣ. Она тоже. Сдружились. Она институтка, дочь богатаго купца Ягорлыцкой. Армянка. Влюблена въ своего какого-то Владиміра. Онъ въ Семилѣтовскомъ партизанскомъ отрядѣ.

Двое влюбленныхъ и двое безъ любимыхъ своихъ половинъ. Смотритъ на меня и мечтаетъ о Владимірѣ; гляжу на нее, а самъ уношусь въ Глозуновскую. Два разбитыхъ сердца. Двѣ чуждыхъ другъ другу души и такъ ясно понимающія страданія каждой. А кругомъ весна, теплая, волнующая ночь, лопающіяся почки на деревьяхъ, мо-

лодые побѣги... Кругомъ пробужденіе, новая жизнь...

— Глѣбъ Петровичъ, переѣзжайте къ намъ. Вамъ здѣсь будетъ удобнѣе. Будемъ вечерами вмѣстѣ мечтать... Каждый о своемъ... О близкомъ, далекомъ... — сказала красивая армянка, прощаясь со мной на разсвѣтѣ.

— Хорошо, — отвѣтилъ я и на другой день поселился у своей интересной и странной институтки...

Вечеръ прошелъ не гладко, не такъ, какъ наканунѣ. Слишкомъ пьянило и думать ни о чемъ не хотѣлось. Смотришь на армянку, а грезится та, своя родная Лидія. Не выдержалъ и поцѣловалъ. Тянулся къ своей, а поцѣловалъ чужую, прелестную смуглянку. Поцѣловалъ и сконфузился.

— Что за ерунда, не понимаю, — сказалъ я вслухъ самъ себѣ.

И ей:

— Вѣдь я же васъ не люблю!..

— Да, меня вы не любите. Но вы любите вообще, а это все. Потомъ поймете... Идемте спать. Такъ будетъ лучше...

Я взялъ ее подъ руку. Пришли въ квартиру и, пожелавъ другъ другу покойной ночи, разошлись по своимъ комнатамъ.

Не спалось. Со мной творилось что то новое, чего то не доставало, чего то хотѣлось. Да, хотѣлось женскаго тѣла. Только его.—И странно, это желаніе почему то рождалось съ мыслью о моей любимой, недостижимой. Провѣрилъ себя. Думалъ объ армянкѣ... И сейчасъ же образъ

брюнетки превращался въ далекую, мраморную. Словно дѣйствовали какія то темныя силы.

Стало жутко. Зажегъ свѣчу. Размышляю. Вдругъ открывается дверь и... входитъ она... въ сорочкѣ, съ накинутымъ на плечи теплымъ платкомъ.

— Слушай,—говорить мнѣ она.—Мнѣ очень страшно одной. Думаю вдвоемъ будетъ спокойнѣе... Такъ хочется къ тебѣ, что въ головѣ мутится...

Я не протестовалъ. Наоборотъ, поспѣшилъ откинуть для нея одѣяло. Подвинулся.

Горячая и вся дрожитъ какъ въ лихорадкѣ. Обняла, цѣлуетъ... Цѣлуемся...

— Какъ хорошо...—простонала она и, мы—я и она—упали въ бездну нахлынувшей страсти...

Двое, а вмѣстѣ съ тѣмъ четверо. Институтка была съ своимъ далекимъ Владиміромъ, а я—тоже не съ ней...

И вмѣстѣ, и врозь... Такъ было...

* * *

— Пришла и наша очередь, т. е. нашей семьи. Отецъ заболѣлъ сыпнякомъ. Заразился, несмотря на всѣ предосторожности.

Двое сутокъ продежурилъ у него почти совершенно безъ сна. Врачи сначала думали, что это просто инфлуэнца. На третій день рѣшили положить въ госпиталь. Сыпной тифъ... Ни аспирина, ни чай съ малиной, ни касторка, ни вино—ничто не помогало, температурило по прежнему. Я выбился изъ силъ... Отвезли.

Наступилъ четвертый день... Безъ перемѣнъ...

—Сыпь не появлялась. Весь горить. Температура скачками.

— Плохой симптомъ,—сказаль мнѣ докторъ, —но ничего. Не унывайте, приложимъ всѣ средства, чтобы спасти... А въ общемъ, отъ судьбы не уйдешь...

Пришелъ къ отцу вечеромъ въ одиннадцать часовъ. Не спить...

— Ну, слава Богу. Дождася... Я умираю, Глѣбъ.. Возьми вотъ эти вещи... здѣсь все... Возьми и деньги... А теперь подойди, благословлю, поцѣлуемъ. Тяжело мнѣ съ тобой разставаться. Вѣдь ты мой единственный, единственная опора для матери и сестры...

У отца на глазахъ слезы. Плачеть...

— Умирать мнѣ не страшно... Только жаль васъ, тебя, Клавдію... Но все Богъ... Молись... Быть можетъ будетъ чудо... Можетъ быть и не умру... Вернешься домой—поцѣлуй маму, Клаву... И передай имъ мое благословеніе...

Онъ приподнялся на подушкѣ. Перекрестилъ меня. Поцѣловались...

— А теперь иди спать... Не буди доктора и не рассказывай ему, что я тебѣ говорилъ. Онъ и такъ усталъ, а помочь мнѣ все равно не поможетъ. Только одинъ Богъ, если Онъ твою молитву услышитъ... Ну, иди. Я усталъ... Хочу спать... —сказаль папа уже слабымъ голосомъ, чуть слышно...

Лицо его какъ-то осунулось вдругъ, потемнѣло, приняло какой-то фіолетовый оттѣнокъ... Взялъ его руку—тяжелая-тяжелая...

Посмотрѣлъ въ лицо... мокрое... А изъ впа-

динъ, изъ ямъ, куда провалились глаза, струятся капельки...

Мнѣ стало вдругъ страшно. Я почувствовалъ дыханіе смерти... Смерть...

Бородатый офицеръ, какой-то полковникъ, лежавшій по сосѣдству съ отцомъ, все время бредить. Что-то началъ кричать. Ругается непечатно.

Къ полковнику подошла „бѣлая косынка“... ищетъ пульсъ.

Бородатый срывается и съ крикомъ „твою мать“, бросается на сестру. Сестра вырывается, бѣжитъ. Полковникъ за ней...

Влетаютъ санитары и общими усиліями намъ удаётся съ нимъ справиться.

Глаза страшные. Злые. Сильно возбуждены. Не человѣкъ, а дьяволъ какой-то... Уложили. Не доволенъ. Опять грубая брань...

— Сволочи!—прорычалъ бородатый и заскрежеталъ зубами.—Помѣшали!.. Жаль вамъ!.. А я бы...

Я побѣждалъ къ доктору. Разбудилъ.

— Скорѣе, отецъ умираетъ,—сказалъ я ему и... разревѣлся.

Докторъ схватилъ шприцъ и пошелъ въ палату къ отцу. Я... Да что и говорить... Нѣтъ словъ...

* * *

— Пятый день. Утро. Восемь часовъ. Отецъ безъ сознанія. Все время спить... и все время ему дѣлаютъ уколы. Камфора, кофеинъ, кофеинъ и снова камфора. Въ ноги, въ руки, въ грудь—во все тѣло. Не помогаетъ, не приходитъ въ себя.

Бородатого офицера уже нѣтъ. Нѣтъ и его койки. Вынесли... Вынесли вмѣстѣ съ койкой.

На дворѣ у госпиталя много коекъ. Болѣе десятка. Вчера ихъ не было. На нихъ тогда лежали еще люди, полумертвецы, бредившіе.

Черезъ часъ-другой койки будутъ опять въ лазаретѣ, въ палатахъ... А на смѣну изъ палатъ вынесутъ другія съ еще не остывшими трупами...

Зашелъ подѣ вечеръ. Отецъ спитъ и изрѣдка сквозь сонъ что-то говоритъ. Вспоминаетъ мое имя, молится въ бреду.

— Ночью будетъ кризисъ, — сказалъ врачъ, — Или—или...

* * *

— Въ головѣ одна мысль: „ночью кризисъ“. Завтра Благовѣщеніе... 25 марта. Большой праздникъ. Птицы не вьютъ себѣ гнѣзда въ этотъ день,—говорится въ народѣ.

Пошелъ въ церковь. Молился, просилъ... Забылъ про всѣхъ и про все. Я хотѣлъ и просилъ одного: чтобы папа былъ живъ, чтобы перенести ему кризисъ.

Въ этотъ вечеръ въ церкви, въ эту ночь дома, на квартирѣ я былъ сплошная молитва. Мысль—прямая линія къ Богу, къ Богородицѣ.

Ночь. Часа три-четыре, а можетъ и болѣе я стоялъ на колѣняхъ. Ни иконъ, ни мерцанія лампадки я не замѣчалъ. Молился и плакалъ. Нѣтъ, не плакалъ... слезы просто сами текли.

Стало свѣтать. На душѣ тихо, хорошо.

Стою на колѣняхъ... А впереди, въ углу смотрять съ иконъ, изъ-подъ стекла Спаситель и Божія Матерь...

„Спасень“, — подумалъ я. — „Спасень!“ Въ это я вѣрилъ всѣмъ своимъ существомъ.

Комната наполнялась мутной сѣроватостью, свѣтомъ утренняго тумана.

Посмотрѣлъ на теплящуюся лампадку. Теперь, въ этомъ молочномъ свѣтѣ она казалась какой-то непонятной, бесполезной, ненужной.

Задулъ ее и, не раздѣваясь, легъ спать. Спать не хотѣлось, просто усталъ. Забылъ о госпиталѣ, объ отцѣ... Ни о чемъ не думалось. Тѣло, душа отдыхали. Задремалъ... Забылся...

На стѣнныхъ часахъ пробило 6. „Ну, провѣримъ“, — подумалъ я. Я былъ увѣренъ, мнѣ казалось, что не услышать моей молитвы было нельзя. Даже самая черствая душа услышала бы, сжалась бы, уступила бы...

Пошелъ. Завидя госпиталь заволновался. Сердце сжалось, запрыгало... Скоро отвѣтъ. Глаза устремлены туда, къ стѣнѣ зданія, къ койкамъ.

Все ближе, ближе... Въ мозгу шевелится мысль: „Есть Богъ?“ — Нѣтъ койки!.. Или...

* * *

— До лазарета шаговъ пятьдесятъ. Глаза лихорадочно пробѣгаютъ по койкамъ...

„Кончено!..“ — Сердце дрогнуло, остановилось какъ будто... Изъ груди ушло что-то легкое: улетѣла надежда.

На одной изъ коекъ я замѣтилъ папинъ платокъ... Носовой платокъ съ двумя розовыми каемками...

Уже незачѣмъ было торопиться...

* * *

— Подошелъ къ койкѣ. Взялъ платокъ. Не

ошибся. На платкѣ знакомые, родные инициалы...

Что было дальше—не помню. Знаю одно, что я не плакалъ. Миѣ не было жаль ни отца, ни людей, никого. Я потерялъ самое цѣнное.

Я потерялъ Бога, въ котораго вѣрилъ не колеблясь, которому ставилъ свѣчи, которому молился, для котораго пѣлъ еще такъ недавно на клиросѣ. Я лишился всего. .

.

О гробовую крышку застучала земля. Холмикъ. Могила... Могила съ крестомъ.

— А для чего этотъ крестъ? — спросилъ я окружающихъ.

Меня не поняли. Вѣроятно, объяснили этотъ вопросъ моимъ нервнымъ разстройствомъ.

Не понять имъ было и того, что въ тотъ моментъ я хоронилъ уже не отца, а какого-то далекаго, далекаго, чужого человѣка. Чужого и ненужнаго, какъ все, какъ весь міръ, какъ я самъ...

* * *

— Апрѣль, май, іюнь. Газеты запестрѣли сообщеніями о возстаніи верхне-донцовъ. Геройское возстаніе у красныхъ въ тылу...

Врангель въ Царицынѣ... По всему фронту началось побѣдное шествіе.

Мы возвращались къ роднымъ куренямъ, во свояси.

Длинной вереницей тянется обозъ. Знакомые хутора, станицы. По бокамъ большака волнуется нива. Безбрежный, зеленый коверъ, красныя, голубыя, желтыя пятна и точки—татарникъ,

васильки, колокольчики, донникъ. Одуванчики. Чоборъ. Съдовласый ковыль...

Трещать кузнечики. Гдѣ то высоко, высоко, невидно, заливается жаворонокъ.

Вотъ, какъ камень, упалъ ястребъ, утонулъ въ травѣ... Секунда,—вынырнулъ, унося въ своихъ хищныхъ, крѣпкихъ когтяхъ какую то жертву.

Ни облачка. Небо сѣроватое. Запылилось... Стоитъ лишь чуть-чуть прищурить глаза—и чудится, какъ воздухъ наводненъ разнообразными, причудливыми, блестящими змѣйками.

Отъ земли, вибрируя, подымается сизоватая дымка. А надъ всѣмъ этимъ живописнымъ ковромъ, почти надъ головой дно мѣднаго, ослѣпительнаго таза, бросающаго жаркіе, знойные лучи. Слабые порывы вѣтерка. Зыбится трава, рожь, пшеница, хлѣба.

Широкое раздолье. Донская, родимая степь. Цѣль все ближе, ближе...

* * *

— Хуторъ Перелазы. Отдыхаемъ. Сегодня ночью буду дома... Но мысль эта не радовала, а наоборотъ—приводила въ отчаяніе, въ уныніе. Мать вѣдь ожидаетъ двоихъ... Какъ я ей скажу объ отцѣ?

Мама, мама... если бы ты умерла сразу безъ мученій... Мнѣ было бы совершенно, абсолютно безразлично. Но слезы, истерика, рыданія... Для чего все это?!

Я лежалъ въ тѣни старой березы, растянувшись на полости.

Шепчетъ береза. Къ чорту этотъ шопоть,

утѣшенъе, обманъ! Я не тотъ. Я машинка, манекенъ.

Солнце сползло къ горизонту. Черезъ полчаса исчезнетъ совсѣмъ. Всталъ. Надо собираться.

* * *

— Стемнѣло. Блѣднымъ, холоднымъ, безжизненнымъ свѣтомъ смотритъ луна, казачье солнце.

Конь прядетъ ушами, пофыркиваетъ, узнаетъ знакомыя мѣста. Обгоняю подводы, станичниковъ.

Стало холодно. Скоро разсвѣтъ. Степь купается въ холодной росѣ. Готовится къ зною. Просыпаются пташки, чтобы звонкою пѣснью встрѣтить восходъ.

Воздухъ насыщенъ дыханіемъ степи, медомъ ржи, подсолнуховъ, дынями, цвѣтами...

Вотъ и „Пирамиды“. Родной запахъ полыни... Алексѣевцы, рыцари степные... Въ сердцѣ камень, не сжалось. Ни-че-го...

.....

У воротъ. Дома спать.

„Бужу“, рѣшилъ я. „Все равно, будь что будетъ!“...

.....

Мать выжила... Оправилась. И сказала: „Таткова, знать, воля Господня... За грѣхи... Испытаніе. Тяжело, но я счастлива. Счастлива потому, что онъ умеръ подъ Благовѣщеніе. Онъ въ Царствіи Небесномъ“...

* * *

— Въ станицѣ добровольцы. Не свои, не казаки, а русскіе, деникинцы... На рукавахъ, кажется

и на фуражкахъ національныя, трехцвѣтныя ленточки.

Формируется бригада изъ плѣнныхъ красноармейцевъ. На бывшихъ „товарищахъ“ новенькіе англійскіе мундиры, погоны, кокарды...

Сытыя, веселыя лица. Русскіе солдатики. Они теперь въ... добровольческой арміи, они солдаты арміи Россійской, почему то окрещенной (для чего это было нужно?) Добровольческой...

Нѣсколько дней тому назадъ эти красноармейцы въ насъ стрѣляли, шли въ атаку на насъ, были врагами. Теперь же они свои, бѣлые, русскіе, соратники.

Недавно съ красною лентой и съ пятиконечной звѣздой они пѣли на вечерней повѣркѣ всеразрушающій „Интернаціональ“, а сегодня „шапки на молитву“ — басисто въ униссонъ возносятъ благодареніе Богу, вѣря въ Него, вѣря въ прощеніе грѣховъ своихъ...

— „и не введи насъ во искушеніе,
но избави насъ отъ лукаваго“...

Смотришь — удивляешься. Такія у нихъ спокойныя, нсвинныя лица! Большія, взрослые дѣти. А вчера были звѣри, во власти лукаваго...

„Тихія воды глубоки“... вспомнилъ я Будду.

И подумалъ: „таковъ и русскій человѣкъ — тихій, глубокій — загадка...“

Мы ли, вы ли,
Ты ли, я ли
Цѣлый день
Вчера стрѣляли...

Почему?..

.....

Смѣло мы въ бой пойдемъ
За Русь святую
И какъ одинъ прольемъ
Кровь молодую...

поетъ солдатская колонна, покрывая дружнымъ аккордомъ молодыхъ голосовъ мѣрный отбой о мостовую „англійскаго танка“ *).

По сторонамъ толпою бѣжитъ дѣтвора, спотыкаясь, падаетъ, заглядѣвшись на солдатскіе рты.

Роты пошли на прогулку...

* * *

— Воскресенье...

Къ зданію женской гимназіи подъѣзжаютъ коляски, пролетки — все знакомыя лица нашей станичной интеллигенціи.

Туда же шумной и веселой гурьбой, безпечно балагурия и смѣясь, стекаются и болѣе скромные станичники: казаки, крестьяне, учащіеся. Старые и молодые. Богатые и побѣднѣе. Знатные и простые, „безчиновные“.

На Воскресенской, за кварталъ до гимназіи, всѣ эти людскіе ручьи сливаются въ одинъ общій потокъ, журчащій женскими и мужскими голосами и пестряющій яркими, пріятными красками: тамъ перемѣшались алые лампасы, хаки, чесунча, синіе казачьи шаровары, сѣрые, песочные костюмы, дамскія шляпы, платочки, цвѣты... Станица идетъ на докладъ.

Будутъ читать о цѣляхъ добровольческой арміи, о томъ, что такъ всѣхъ волнуетъ, за чѣмъ

*) Шнурованный англійскій солдатскій ботинокъ.

съ недоувѣріемъ и сомнѣніемъ слѣдила стоязыч-
ная, многомилліонная Россія.

Все это хотѣло знать и казачество. Не за
наказныхъ ли атамановъ Граббе и Таубе, не за
разгромъ ли Державнаго Круга, не за торжество
ли Россіи дворянской и помѣщичьей, не за но-
вое ли и еще горшее рабство крестьянъ и рабо-
чихъ—казачество отдаетъ своихъ сыновей, всту-
пая въ борьбу ужъ не за край родной, „не за
свой порогъ и уголь“, а за двуглаваго орла, за
Русь Святую, кондовую, *) недѣлимую, единую
Россію...

Что это такое „добровольческая армія“?
Почему не русская армія, а „добровольческая“?..

„Сегодня отвѣтятъ. Узнаемъ сейчасъ“. Такъ
думали казаки и крестьяне, поднимаясь по лѣст-
ницѣ и занимая мѣста въ актовомъ залѣ, откуда
ежегодно очаровательныя и прекрасныя дѣвуш-
ки-гимназистки выносили аттестаты зрѣлости,
вступая на новую дорогу, въ новую жизнь: кто
на путь знанія, а кто и для устройства своего
собственнаго гнѣзда.

Вступятъ ли и слушатели изъ этой гимна-
зической залы на путь новый, о которомъ меч-
таютъ?..

* * *

— Зала декорирована національными фла-
гами: русскими и донскими; бѣло-сине-красный
родственно обнялся съ новымъ, молодымъ, съ
казацкимъ. А промежъ этихъ флаговъ родные,
близкіе и для русскаго и для казака портреты.

*) Кондовыя — коренная.

Въ самомъ центрѣ, конечно, портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ: любящій и любимый Императоръ земель русскихъ Николай со своею супругой Александрой; по правую сторону Императора — обожаемый всѣмъ казачествомъ и его Августѣйшій Атаманъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ Алексѣй.

Вѣчная имъ память, все отдавшимъ за свой непонятый, великій народъ.

Да простятъ они, вѣнценосные мученики, русскому мужику, а въ особенности русскому офицеру его величайшее преступленіе и грѣхъ — измѣну, цареубійство...

Дальше — Платовъ, Суворовъ, Калединъ, Корниловъ и много еще рыцарей русской земли.

Тутъ же „бичъ бояръ и купцовъ“, тоже по своему славный и великій донской атаманъ Степанъ, казненный и проклятый.

Тожe мученикъ и тожe за народъ. Онъ говорилъ: „введу народное правленіе, круги по городамъ, и гнетъ боярскій сокрушу“... Онъ казненъ. И онъ среди нашей національной гордости, среди нашихъ героевъ и рыцарей...

* * *

— На кафедру поднялся молодой „моментъ“ — полковникъ генеральнаго штаба. Говорилъ горячо, долго, красиво. Началъ свою рѣчь съ перваго дня революціи.

Революціонный энтузіазмъ взвился и потухъ, какъ ракета.

Начался развалъ русской арміи въ тылу и на фронтѣ. Отказъ отъ наступленія, убійства начальниковъ, пьяный разгулъ, грабежи...

Заговорилъ полковникъ о Ленинѣ—доказалъ его преступную, шпіонскую работу въ пользу Германіи. Запломбированный вагонъ. Нѣмецкіе милліоны. Преступный и позорный миръ для Россіи.

Жуткую картину рисовалъ докладчикъ. Начались пожары, разгромъ помѣстій и особняковъ; пытки и разстрѣлы въ подвалахъ „чека“. Кровь, кровь и кровь по всей необъятной странѣ. Кровь „голубая“, алая, кровь черная. Большевики никого не щадили. Міръ подполья мстилъ міру роскоши и міру милліоновъ; міру свѣта, культуры и прогресса; міру сытыхъ, средняго достатка—крестьянамъ; міру скромныхъ и честныхъ работниковъ, міру нашей русской интеллигенціи—бѣлымъ крахмальнымъ воротничкамъ, человѣку въ лоснящихся діагоналевыхъ брюкахъ...

— Надъ Россіей опустилась темная ночь,—продолжалъ молодой ораторъ. Генералъ Корниловъ зажегъ факель, и нынѣ къ нему стекаются всѣ, въ комъ не угасла любовь къ родинѣ, чтобы силамъ мрака не дать завершить преступныхъ плановъ. Большевикамъ недорого Россія. Они—банда международныхъ разбойниковъ. Поэтому всѣ подъ знамя Корнилова!.. Каждый зажги свой свѣтильникъ и съ чистой любовью къ народу впередъ, на Москву!.. Мы не беремся возстановлявать прошлаго—наша цѣль наладить порядокъ, дать возможность народнымъ представителямъ съѣхаться на Учредительное Собраніе. Русскій народъ самъ создастъ верховную власть безъ навязыванія и безъ всякаго давленія...

Въ общемъ докладъ сводился къ слѣдующему:

1. Единая, недѣлимая, великая Россія.

Установленіе порядка и защита вѣры, возстановленіе народнаго хозяйства.

2. Борьба съ большевизмомъ до конца.

3. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ, когда таковое необходимо въ государственныхъ или общественныхъ интересахъ, совершается не иначе, какъ въ законодательномъ порядкѣ и за справедливое вознагражденіе.

4. Всѣ силы и средства для побѣды, для арміи.

5. Идти съ союзниками...

Помнится, съ какимъ пафосомъ, съ какой непоколебимой вѣрой въ союзниковъ тогда, на докладѣ, говорилъ полковникъ. Въ союзниковъ вѣрили. Какая слѣпота, какая катастрофическая ошибка! Вѣрили въ тѣхъ, кто всѣмъ своимъ существомъ боялся именно великой Россіи, вѣрили въ тѣхъ, кто мечталъ объ ея гибели.

Друзья познаются въ несчастьи. Думаю, полковникъ-ораторъ теперь убѣдился въ истинной сущности дружбы союзниковъ.

— Хорошо говорилъ, ловко, а яснаго ничего,—говорили казаки, возвращаясь съ доклада.

Докладъ не удовлетворялъ. Изъ доклада вытекало „къ старому“, „до Учредительнаго Собранія“... До Учредительнаго ли?..

„Единая, недѣлимая“... Значить, фронты и фронты... Фронтъ внутренній съ большевиками и

фронтъ внѣшній на бывшихъ границахъ владѣній двуглаваго орла... Да, это былъ девизъ рыцарей, но не политиковъ. Мнѣ кажется, что человѣкъ, бросившій этотъ лозунгъ, рѣшилъ не спасать родину, а такъ умереть гордо и красиво. Умереть рыцаремъ...

„Погибну, но не поступлюсь, ибо вѣрую!..“ А такъ хотѣлось видѣть вожда, вожда народнаго, руссiйскаго Наполеона... Услышать ясный и опредѣленный отвѣтъ. Видѣть реформы, реформы, быть можетъ, дерзкія по отношенію къ меньшинству, но обязательныя во что бы то ни стало для сотенъ милліоновъ.

Люди почему-то забывали главное: произошла революція, а не простая забастовка на заводахъ...

Революція. Вдумайтесь и поймите, если еще этого не поняли...

* * *

— Горизонтъ бѣлаго дѣла съ каждымъ днемъ расширился. Мы за границею Войска Донскаго. Незнакомыя села, деревни, лапти. Восторженные лица крестьянъ. И вѣрилось: мы побѣдимъ. До Москвы не далеко. Еще мѣсяць—и запоетъ святая Русь въ молитвенномъ экстазѣ:

Боже, Царя храни!
Сильный, Державный...

Такъ думалось по началу. Мы были, конечно, пока не показали себя во всемъ блескѣ своего величія, гостями жданными, избавителями; насъ встрѣчали, какъ солнечный день въ непогоду, какъ радостный благовѣстъ къ свѣтлой заутрени...

Но чѣмъ дальше продвигались мы вглубь, чѣмъ ближе подходили къ Москвѣ, тѣмъ сильнѣе выявлялась разнузданность власти и месть. Бѣлый терроръ...

Въ городахъ же, особенно въ тылу, шель развратъ, пьянство, разгулъ, кутежи, въ омутъ которыхъ бросались и офицеры, говоря: „Жизни грошъ цѣна. Хоть часть да мой!“ Такъ велась борьба за Россію, война освободительная... Освободительная ли?.. Такъ ли себя ведутъ въ освободительной борьбѣ?

Октябрь, ноябрь... На мѣстахъ пристава, стражники, городовые, полицейскіе.

„Возрождалась“ Россія... Какъ была, прежняя.

Возвращаются владѣльцы къ прадѣдовскимъ липамъ...

Будетъ ли такъ?! Настроеніе крестьянъ измѣнилось, стало враждебнымъ. Словно мы не въ Россіи, а въ только что покоренной странѣ, во вражескомъ станѣ...

* * *

— Въ штабѣ полка возбужденіе и злоба. Возстали-крестьяне сосѣдняго села. Убиты, звѣрски замучены четыре офицера. Въ плечи загнаны трехдюймовые гвозди — прибиты погоны... Отрублены пальцы... Выжжены глаза... Грудь и животъ пробиты штыками...

* * *

— Привели плѣнныхъ, зачинщиковъ возстанія. Впереди молодой, бравый крестьянинъ. Красавецъ съ русыми вьющимися кудрями...

— А, такъ это ты?!... — сквозь зубы процѣдилъ болѣзненный сухощавый капитанъ.—Бун-

товаться вздумали, возставать!.. Офицеровъ мучить!.. Звѣриная морда твоя! Большевиковъ вамъ надо? Товарищей? Свободы?.. Землю?.. Вотъ тебѣ земля!.. Вотъ тебѣ свобода!.. — приговаривалъ пьяный тщедушный капитанъ, разсѣкая хлыстомъ у „плѣнныхъ“ физиономіи.

Крестьянъ обступили офицеры, фельдфебели, унтеръ-офицеры—тоже пьяные и тоже желчно-злые.

Потѣшиться надъ большевикомъ, излить на немъ свою месть никому не возбранялось, наоборотъ, считалось геройствомъ, поощрялось...

— Ну, скажи, — обратился капитанъ къ выющимся кудрямъ,—зачѣмъ вы возстали, убили офицеровъ?!... Говори!.. — И въ лицо молодого парня впились злые, беспощадно-мстительные огоньки. Сизою сталью блеснулъ на солнцѣ наганъ...

-- Говори!... — крикнулъ въ изступленьи офицеръ, подымая курокъ. — Это твое послѣднее слово!...

— Хорошо,—отвѣтилъ съ презрѣніемъ крестьянинъ. — Возстали не мы, крестьяне, а ваши же собственные шомпола. Мы возстали не противъ офицеровъ, и не за большевиковъ мы стоимъ!.. Поймите, мы не большевики!.. Мы крестьяне!!! И мы возстали за землю, которую отъ насъ отбираетъ помѣщикъ, за которую мстить намъ ударами шомполовъ!.. Смотри! Любуйся!!!

Парень сорвалъ съ себя рубаху, обнаживъ исполосованную, лиловую спину, запекшуюся кровь...

— Вы брешете!.. Вы намъ голову морочите!!! Вы!!!

Раздался выстрѣлъ, и лицо молодого парня стало чернымъ пятномъ. Размножило... Раздались еще выстрѣлы.. Выстрѣлы не въ большевика, а выстрѣлы въ крестьянство, въ сермяжную Русь...

А на стѣнахъ домовъ, у волостного правленія висѣли плакаты Деникина, гласившіе:

... „Мы идемъ для того, чтобы дать тихую спокойную жизнь и правымъ, и лѣвымъ, и казаку, и рабочему, и крестьянину“...

* * *

— Бѣлая идея, бѣлое дѣло и героическая борьба, начатая генераломъ Корниловымъ за Россію, за ея спасеніе, за величіе великаго народа, въ итогъ превратилась въ мщеніе и поработеніе его.

А успѣхъ бѣлаго дѣла всецѣло зависѣлъ отъ того, если бы сочувствіе массъ, каковое наблюдалось въ началѣ, превратилось въ активную помощь и если бы черныя дѣянія бѣлыхъ не затмили бы самую бѣлую идею.

Народъ же или шелъ съ красными, или стоялъ въ сторонѣ.

Красные побѣдили. Мщеніе черныхъ помѣщиковъ и пьяныхъ капитановъ сдѣлало свое.

Мы подходили къ Новороссійску...

* * *

— Обозы, обозы и обозы... Длинная, длинная вереница подводъ, батарей, пулеметныхъ тачанокъ. Усталыя лица. Худыя, какъ скелеты — замученныя отступленіемъ лошади.

Сзади, и такъ недалеко,—красные; по сторонамъ, съ горъ, стрѣляютъ зеленые.

Впереди... Впереди рокоть бушующаго Чернаго моря, неизвѣстность, сомнительная надежда на спасеніе.

„Куда мы идемъ“? шевельнулся въ сознаніи вопросъ.

— Куда мы идемъ?—спросилъ я офицера артиллериста.

Мнѣ казалось, что всѣ—и офицеры и солдаты—ничего не понимаютъ и двигаются впередъ лишь только потому, что движется передняя повозка.

— Въ Новороссійскъ, къ морю!..—отвѣтилъ полковникъ не задумываясь.

— А дальше, г. полковникъ?

— Дальше?... дальше...

Тутъ-то полковникъ задумался.

— Дальше, процѣдилъ полковникъ въ третій разъ, теребя свою клинообразную бороду,—дальше на пароходъ, въ море...—и, сказавъ эти роковыя слова, самъ испугался, измѣнился въ лицѣ отъ своего невольно вырвавшагося признація..

Мнѣ стало еще тяжелѣй. Во первыхъ, потому, что своимъ вопросомъ я сдѣлалъ больно полковнику, а во-вторыхъ—отъ сознанія своего полнаго безсилія что-либо измѣнить, такъ какъ тогда я былъ абсолютно ничто—соломинкой въ бушующемъ морѣ людскомъ.

Да. Я былъ тогда ничто, ибо человѣкъ безъ желаній и вѣры есть не что иное, какъ набитый

костями мѣшокъ. Рухнуло все, чѣмъ я жилъ и чѣмъ вдохновлялся къ движенію.

Было ясно, яснѣе безоблачнаго, солнечнаго дня, что русскій народъ не съ нами.

Было видно, что нашъ „богоносецъ“ утонулъ въ новой истинѣ, сталъ на путь новый твердо, упрямо, и что на этомъ новомъ пути, пусть даже на ложномъ и вздорномъ, не задержать намъ его шествія, не свернуть на другой...

Было желаніе остановиться, не идти къ морю. Либо вернуться къ народу, якобы нашедшему идеаль, либо сражаться и умереть, пусть за ошибочныя, но за свои убѣжденія.

И все же я шель, катился со всею, уже не арміей, а бѣженскою массою въ ущелье, въ долину рокового Новороссійска...

Вспомнилъ отца, его разсужденія о нашей революціи и его предсказанія, такія печальныя и непріятныя, но вѣрныя, дальновидныя. И рѣшилъ: довольно драться, довольно бороться со стихіей. Надо обождать пока утихнутъ бури и все успокоится. Надо жить и сберечь себя пока. А тамъ будетъ видно. Я выполнилъ все добросовѣстно, какъ повелѣвалъ мнѣ долгъ.

Впереди остановились. Оборвалось теченіе мыслей на философскую тему. Съ горъ затрещали пулеметы „зеленыхъ“, а въ долинѣ немилосердно рвались большевицкіе снаряды.

Появились убитые, раненые. Шумъ, крики и брань. Кто-то изъ ручного пулемета открылъ огонь по горѣ, по кустамъ, въ зеленыхъ.

Кусты замолкли. Отлетѣли смертоносно жа-

лящія „пчёлки“. Видно, „строчка“ изъ ручного была не въ пустую.

Артиллерійскій обстрѣлъ по долину продолжался по прежнему. Но дѣлать нечего. Будь что будетъ. Тронулись. Запрыгали снарядные ящики, загромыхали желѣзомъ мортиры, трехдюймовки, повозки пулеметныя. Всѣ и все ринулось въ долину. Поскакалъ и мой конь впереди какой-то батареи.

Что было дальше—не помню. Пришелъ въ себя уже въ Новороссійскѣ, въ санитарномъ фургонѣ.

Въ головѣ стучало и страшно болѣла грудь. Кашлянулъ—кровь. Ощупалъ я себя и сообразилъ, что „все въ порядкѣ“, что лишь только „малость“ контуженъ. Вспомнилъ своего дорогого конишку и, правду говорю, заплакалъ какъ ребенокъ. Погибъ мой другъ—самый чуткій и самый вѣрный до конца.

А рядомъ, по сосѣдству—умирающіе и раненые. Здоровыхъ поблизости—ни одной души, нѣтъ даже санитаря. Всѣ ушли на молю, къ морскому берегу, грузиться.

Чуть дальше—заревы пожаровъ и взрывы, страшные взрывы... То горѣли склады съ аммуницией и рвались артиллерійскіе парки, вагоны со снарядами.

Я лежалъ на повозкѣ и ждалъ. Мнѣ не вѣрилось, чтобы насъ, раненыхъ и контуженныхъ, оставили здѣсь, такъ сказать, на произволъ судьбы. Вѣдь мы же уже въ Новороссійскѣ...

Мимо прогремѣла 5-ая Алексѣевская бата-

рея. Подошла какая-то сотня, свои, донскіе казаки...

И на душѣ стало отраднѣй, спокойнѣе, такъ какъ не было уже одиночества—рядомъ живые, здоровые люди.

Слѣзли съ коней. Офицеръ поѣхалъ на пристань, къ пароходамъ, узнать касательно погрузки.

Нѣсколько казаковъ направились къ складамъ: „чѣмъ, молю, мы хуже другихъ. Пользуемся случаемъ!..“

Ко мнѣ подошелъ молодой, такой же какъ и я, хорунжій и успокоилъ меня, что кого-кого, а меня безусловно погрузятъ. Поддерживать разговоръ мнѣ было тяжело и, успокоенный молодымъ офицеромъ, я сталъ забываться и заснулъ, какъ послѣ хорошей дозы снотворнаго...

Проснувшись же, вѣроятно, отъ холода, я былъ крайне возмущенъ!.. Я былъ пораженъ, просто не хотѣлось себѣ вѣрить: сотни уже не было. Валялось лишь нѣсколько убитыхъ лошадей, приконченныхъ своими же хозяевами, чтобы, навѣрно, не достались другимъ, въ чужія, во вражескія руки...

Насъ не взяли...

Что же дѣлать? Лежать и ждать здѣсь товарищей? Жутко. „Добыютъ, если тутъ настигнуть“,—шевелилось въ мозгу.

Что дѣлать?.. И я рѣшилъ: чтобы жить, надо прежде всего порвать съ прошлымъ, переодѣться, стать просто рядовымъ.

„Да, нельзя иначе“,—согласилось „я“ и, соб-

равъ всѣ свои силы, я поплелся туда, къ интендантскимъ складамъ съ аммуницией.

На счастье, немного пройдя, я встрѣтилъ казака, тащившаго цѣлый тюкъ англійскаго обмундированія.

Сдѣлалъ мѣну. За наганъ получилъ и брюки, и мундиръ съ англійскими львами, и шерстяную черную рубаху.

И, переодѣвшись уже не бѣлымъ, не краснымъ и не зеленымъ, а какимъ-то новымъ чело-вѣкомъ, направился на люди, къ пристанямъ.

Вотъ и моль, пристани. Наверху, на рельсѣ повисшей надъ головой желѣзной дороги и уходящей своими быками въ волны залива, болтаются въ нижнемъ бѣльѣ висѣльники.

Кто они и за что ихъ повѣсили? Навѣрно ихъ поймали за какой-либо „солидной“ работой. Говорять, что они хотѣли взорвать эту желѣзную дорогу.

Брр... Жуткая картина. Вздернули, хрястнули шейные позвонки, посинѣли и перекосились лица, а картина все же не измѣнилась. Насъ раздавили, побѣдили...

Рокъ... Чему быть,—того не миновать. Такова, видно, судьба: намъ, несмотря на нашу любовь къ своимъ роднымъ куренямъ,—быть побѣжденными и жить, а этимъ, повѣшеннымъ, побѣдить и болтаться...

* * *

— На берегу толпился народъ. Люди сидѣли на уздахъ, у своего скарба и грѣлись у костровъ. Разбивали банки съ консервами, ѣли...

Разбивалась жизнь многихъ, многихъ лю-

дей... У большинства спокойное, тупое выражение лиц. Равнодушие... От утомления, от всего пережитого...

Бухта опустѣла совершенно. Вдали на рейдѣ стояло еще нѣсколько военныхъ кораблей, а еще дальше виднѣлись уже нѣжные силуэты транспортовъ, уносящихъ отъ Новороссійска наше войско въ море, въ неизвѣстное будущее...

Городъ потрясло еще нѣсколько оглушительныхъ взрывовъ. — Послѣднее прощай, послѣдній салютъ генералу Деникину и старой Россіи.

— Красные входятъ! — крикнулъ кто-то, этотъ крикъ подхватила толпа и, вдругъ сорвавшись со своихъ узелковъ, повалила въ городъ. Судьбы не минуешь.

Все равно. И я поплелся тоже за толпой...

Это было въ Новороссійскѣ. Это было 13-го марта 1920 года...

* * *

— Стой!.. Стой!.. Не бойся, товарищи!.. — Съ шашкой наголо, повидимому командиръ, хотя скорѣе онъ смахивалъ на „атамана“ съ большой дороги, останавливалъ своихъ красныхъ „гусаръ“, въ то же время обращаясь съ успокоительными словами къ перепуганному человѣческому стаду.

Это была не воинская часть, не эскадронъ, о которомъ мы обычно имѣемъ представленіе, не люди лихихъ кавалерійскихъ атакъ въ чистомъ бранномъ полѣ, не бравые пожиратели женскихъ сердецъ на стоянкахъ въ резервѣ, это вообще была скорѣе какая-то банда, врывающаяся въ городъ за добычей...

Къ папахамъ, къ фуражкамъ пришиты у нихъ

красно-зеленые лоскутки, такими же лоскутками „разукрашены“ уздечки, гривы и конскіе хвосты, что, какъ потомъ я узналъ, должно было обозначать, что они не красные, а красно-зеленые, наши „благодѣтели“ и „посредники“...

Не знаю, для чего былъ нуженъ весь этотъ маскарадъ? Въдь въ общемъ это были тѣ же „товарищи“...

Впереди меня какой-то полковникъ въ погонахъ вытащилъ изъ кармана наганъ и поднялъ руку къ виску. Раздался выстрѣлъ, упалъ на мостовую. Другой, видно его адъютантъ, прежде чѣмъ пустить пулю себѣ, вѣроятно хотѣлъ разрядить свой маузеръ въ красныхъ — въ красно-зеленыхъ посредниковъ, но какая-то солдатская шинель изъ толпы разможила ему прикладомъ голову раньше, чѣмъ успѣлъ онъ выстрѣлить вторично.

— Товарищи! Бей ихъ, бей офицеровъ! — завопилъ красно-зеленый „атаманъ“ и въ толпу врѣзались наши „благодѣтели“.

Толпа шарахнулась въ сторону, назадъ; закричали, слова молитвы смѣшались со словами проклятій, со стономъ и воплемъ смятыхъ и раздавленныхъ лошадьми...

Тахъ-тахъ-тахъ, — раздались выстрѣлы: немного, обоймы двѣ или три и насъ, все это безвольное стадо, какъ скотину, погнали по разнымъ районамъ...

Будемъ жить, сказалъ я себѣ. Все прошло сравнительно благополучно...

* * *

— Простите, Глѣбъ Петровичъ, — обратилась

къ разсказчику хозяйка, почти все время утиравшая свои влажныя глаза.— Какъ вы сказали? Послѣдній салютъ генералу Деникину и старой Россіи?!.. Неужели все кончено, и мы болѣе не увидимъ былой Россіи?..

— Да. Прошлая Россія умерла. Больше таковой мы ее не увидимъ никогда.

— Господи, что вы говорите?—взмолились остальные гости.

— Быть не можетъ! Чтобы такая великая страна да погибла?—закипятился мужъ хозяйки, статскій совѣтникъ, служившій до революціи въ Петербургѣ, въ морскомъ вѣдомствѣ.

— А Петръ Великій, а Великая Екатерина что-же, по вашему, напрасно вели войны? Что же ихъ работа должна пойти прахомъ? Нѣтъ, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Россія будетъ великая, какъ прежде, и даже еще болѣе великой!

— Дай Боже!—отвѣтилъ невозмутимо разсказчикъ. — Но мое мнѣніе: прежней Россіи не бывать. Да, Россія не погибла и не погибнетъ и будетъ великой державой, но великой не Петромъ и Екатериной, не „громомъ побѣдъ“, не путемъ завоеваній и захвата... Передъ Россіей лежатъ новыя задачи, новые пути, она напишетъ новые законы...

— Господа, пройдемте въ столовую, закусимъ, попьемъ чайку; да и вамъ, дорогой Глѣбъ Петровичъ, надо отдохнуть, вѣдь такъ еще много разсказывать про свои мытарства,—обратилась гостепріимная Анна Никаноровна, дипломатично перебивая начавшійся споръ о Россіи.

— Такъ все это тяжело и обидно слушать. Вѣдь

были почти около Москвы и вдруг катастрофа. Невольно слезы наворачиваются. И плачешь, а знать все же хочется. Хочется перестрадать хотя бы косвенно, слушая, какъ страдали и мучались другіе...

— А пока, дорогіе, садитесь и будьте какъ дома, чѣмъ богаты, тѣмъ и рады, — сказала хозяйка и чинно усѣлась на свое предсѣдательское мѣсто.

Она была довольна своей судьбой въ зарубужьѣ, такъ какъ ея мужъ, занимаясь поставками и прочими коммерческими дѣлами, зарабатывалъ на эмигрантскомъ положеніи и по эмигрантскимъ понятіямъ — солидно.

— Выпьемте, господа, по маленькой и вспомнимъ прошлые, счастливые годы! Сначала, первую, подъ грибки! А грибки-то прелесть, какая нѣжная острота; вторую — подъ кильку, потомъ подъ ветчинку, кто хочетъ — подъ рыбу копченую. Кто подъ колбаску — тоже первый сортъ, подъ зайца, правда фальшивый, но вещь не вредная, — потирая отъ удовольствія руки и дѣлая блаженную улыбку, приговаривалъ статскій совѣтникъ.

— За будущую великую Россію, за двуглаваго орла, за шпиль адмиралтейства!..

— Ваше здоровье, Анна Никаноровна, — обращаясь къ хозяйкѣ, сказалъ Глѣбъ Петровичъ и поднялъ вторую...

Хозяинъ заговорилъ про Петербургъ, про столичную жизнь и сталъ вспоминать былые дни у „Донона“, въ „Медвѣдѣ“, у „Палкина“...

Было далеко за полночь, когда гости стали расходиться по домамъ, во-свояси.

Разсказчикъ, задержанный любезной и словоохотливой хозяйкой, уходилъ послѣднимъ.

— Итакъ, Глѣбъ Петровичъ, вы не забудьте обѣщаннаго. Значить въ воскресенье. Будемъ обязательно ждать. Приходите такъ, къ обѣду. Пообѣдаемъ и dokonчите. Вѣдь, навѣрное, осталось немного: у красныхъ, потомъ здѣсь, заграницей... А такъ хочется знать все, все, все, такъ сказать отъ крышки до крышки...

— Да, Анна Никаноровна, осталось уже немного,—видно раздраженный болтовней хозяйки, отрѣзалъ ей гость.

— Да и что всѣ мои переживанія, по сравненію съ той тоской и горечью, которыя я испытываю здѣсь, въ нашемъ зарубежѣ, глядя на нашу ничтожную русскую братію... Хорошо, приду. Исполню обѣщаніе. Всѣхъ благъ... Покойной ночи...

— Досвиданія, досвиданія, человекъ новой Россіи, — прощаясь говорилъ статскій совѣтникъ и добавилъ шутя:

— Вы только не вздумайте обижаться, родной, это я такъ, отъ чистаго сердца. Лучшей Россіи, другой, не старой, мы не понимаемъ. Не видимъ и не поймемъ. Мы свое ужъ отжили. Ей, ей, правду говорю... И не обижаюсь... Итакъ, до воскресенья, — пожимая руку разсказчику, закончилъ хозяинъ.

— До воскресенья!..

Часть вторая.

У ВРАГА.

— Красная армія... Да, итакъ, я въ красной арміи, въ „рабоче-крестьянской“, съ пятиконечной звѣздой...

И все это произошло такъ быстро, какъ будто во снѣ, какъ въ сказкѣ. Вчера былъ Кипріановъ и ваше благородіе, а сегодня я уже Ивановъ, „товарищъ“-писарь.

Красно-зеленый отрядъ, взявшій меня въ плѣнъ, разворачивается въ полкъ и комплектуется родными донцами.

Все, какъ будто, по старому: и „гуторятъ“, и смѣются по прежнему, и въ часъ вечерній льются пѣсни казачьи, старинныя, а все-же, что-то не то... Всматриваюсь въ новую жизнь, стараюсь разгадать красный ребусъ, но мысли еще такъ хаотичны, что дальше впечатлѣнія чисто внѣшняго, поверхностнаго не двигаюсь.

Сразу на что я обратилъ вниманіе, что диссонансомъ ударило въ ухо—это слово „товарищъ“. „Товарищъ“ въ 20 лѣтъ обращается къ старшему, которому, допустимъ, лѣтъ 50, тоже „товарищъ“... Какой абсурдъ, какая гадость, даже просто со стороны приличія, вѣжливости, не говоря уже о психологической сторонѣ этого обращенія. Потомъ, позже, когда я сдѣлалъ полный

анализъ слову „товарищъ“, я понялъ къ чему это вело. Это вело къ уничтоженію казачества, его быта, семейнаго уклада, — къ уничтоженію казачьей души и всего того, чѣмъ жило и было крѣпко казачество. „Товарищъ“ замѣняя, вытѣсняя традиціонное „станичникъ“ и „землякъ“, стирало не только областныя границы, а приводило къ общему равенству и крестьянина, и казака, и „товарищей“ Путиловскаго и Тульского Заводовъ... Конь, корова, волъ, рабочій, крестьянинъ и казакъ, всѣ они, всѣхъ ихъ назначеніе въ коммунистическомъ царствѣ и участь одна: „товарищу“ — „быдло“, коммунистическій кнутъ и могила...

— Простите, что я уклонился и сталъ говорить вамъ объ истинѣ давно всѣмъ извѣстной... Анна Никаноровна, извините, на чемъ я остановился?

— Красно-зеленый отрядъ комплектуется казаками и превращается... нѣтъ, нѣтъ... не превращается. Ну, какъ его?.. Какъ вы сказали?..

— Да это не важно. Не стоитъ думать. Я уже знаю...

— Вспомнила, вспомнила!—Разворачивается въ полкъ!..

— Да... Разворачивается въ полкъ... Появились знакомыя лица станичниковъ, нашихъ усть-медвѣдцевъ... Помню: подходитъ ко мнѣ казакъ, молодой фронтовикъ, знавшій хорошо и отца и меня, всю нашу семью однимъ словомъ.

— Здравствуйте,—говорить и улыбается.—Здравствуйте, товарищъ писарь.

— Здравствуйте, „товарищъ“ Мартынычъ,—отвѣчаю я ему.—Вотъ-то неожиданная встрѣча!

Что новаго? Пойдемъ, погуляемъ и рассказывай. Только имѣй въ виду, Мартынычъ, что я теперь уже Ивановъ,—добавилъ ему тихо, шопотомъ.

— Да, довоевались, товарищъ Ивановъ, — отвѣтилъ Мартынычъ и вздохнулъ. Потомъ такъ же чуть слышно, какъ и я ему, сказалъ свою тайну, прошепталъ: „давай тягу“, и уже громко: „ну, идемъ, расскажу, потолкуемъ!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались!“..

Отъ него я узналъ, что старшій писарь нашего Управленія окружного атамана сдѣлался комиссаромъ и уже много, много офицеровъ отправилъ на тотъ свѣтъ.

— Говорить: „всѣхъ разстрѣляю, какъ собакъ. Никому пощады!“—Самъ въ генеральской шинели разгуливаетъ, съ красной подкладкой... А пьетъ—заливается!.. Каждый день съ утра и до ночи... Золотые часы, на рукахъ кольца съ разными дорогими камнями, говорятъ—бриллианты; серебряная шашка... Да и што говорить—генерала, што шинель его носить, самъ застрѣлилъ; живетъ съ молодой полковницей... Красавица!.. Мужа ея тоже убилъ... Дьяволъ сталъ, а не человѣкъ... Тигра лютая... Гадъ проклятый... Знаешь што?! Убѣгай. Сегодня вечеромъ, кажись, приѣдетъ въ Рубановскій полкъ... Военкомомъ назначень, хвалился ребятамъ. Убьетъ тебя, ваше благородіе!.. Ей-Богу!.. Што—Ивановъ?!—Все равно узнаеть.

— Спасибо, Мартынычъ, за твою казачью вѣрность и дружбу. Дай Богъ тебѣ счастья, — сказалъ я ему и мы расцѣловались. Мартынычъ

плакалъ... Не выдержалъ казакъ... Навѣрно не ждалъ, что я его поцѣлую.

— Ну, прашевай, ваше благородіе,— сказалъ Мартынычъ, и мы разстались.

Это былъ настоящій казакъ. И такіе они почти всѣ... Писарь?! Въ семьѣ не безъ уродов...

.

Черезъ часъ я былъ уже Власовымъ въ Н-скомъ сибирскомъ, образцовомъ, стрѣлковомъ полку. Здѣсь уже были сибиряки, разбившіе колчаковскую армію...

* * *

— Товарищъ Власовъ,—вѣжливо обращается ко мнѣ командиръ роты „образцового“ полка: —васъ проситъ въ штабъ товарищъ комполка. Хотите говорить съ вами лично, съ глазу на глазъ. Имѣйте въ виду—онъ латышъ, но, кажется, милый „товарищъ“, даже, пожалуй, и не въ кавычкахъ... Мой вамъ совѣтъ—сказать ему правду. Вѣдь вы же не писарь. Къ чему вся эта игра? Офицерамъ, повѣрьте, ничего не угрожаетъ. Я тоже офицеръ, штабсъ капитанъ 4-го Добровольческаго полка. Итакъ, желаю успѣха, — сказалъ мой комротъ и добавилъ:—надѣюсь васъ видѣть моимъ помощникомъ.

— Помилуйте, товарищъ роткомъ! Да я никогда и въ строю то не былъ. Какой я офицеръ? —отвѣчаю ему.

— Ладно, ладно! Идите, а тамъ дальше посмотримъ. Я вамъ желаю только хорошаго!

„Ловишь, братъ,—думаю.—Нѣтъ ужъ, дудки! Командуйте вы сами на здоровье, а я буду пи-

сать вамъ списки, вѣдомости, расписанія занятій...
Такъ-то будетъ спокойнѣе“...

* * *

— Здравствуйте, товарищъ командиръ! Я—
Власовъ.

— Здравствуйте, товарищъ,—отвѣтилъ командиръ полка и, подавъ руку, представился: „Койя“.

— Товарищъ, ну, положимъ, Власовъ, скажите мнѣ откровенно: кто вы есть на самомъ дѣлѣ? Быть можетъ офицеръ, а можетъ юнкеръ? Говорите мнѣ правду. Садитесь, пожалуйста. Вы мнѣ очень нравитесь. Вы еще такъ молоды и мнѣ хочется сдѣлать изъ васъ большую пролетарскую величину. Итакъ, раскрывайте свои карты!

— Я гимназистъ и только. Быть офицеромъ даже и не мечталъ. Думалъ быть юристомъ, но революція, война...

— Говорите просто: „проклятые большевики“,—перебилъ меня латышъ.

— Гражданская война, — продолжаю: — и штабъ, работа на оборону писаремъ...

Долго продолжался мой допросъ, но убѣдить пытливаго, любезнаго „командира“ мнѣ не удалось.

— Пусть будетъ по вашему,—сказалъ, наконецъ, Койя.—Если не хотите быть комкоромъ, командующимъ арміей,—я не настаиваю. Я сдѣлаю изъ васъ хорошаго политкома!—На лицѣ его блуждала довольная и пріятная улыбка. И, хотя онъ былъ изъ шахтеровъ, рабочій, но произвелъ впечатлѣніе настоящаго, прирожденнаго аристократа. И въ голосѣ и въ манерѣ держать

себя чувствовался баринъ. Удивительный типъ.

— А пока я васъ прикомандировываю къ моему штабу, въ личное мое распоряженіе, вродѣ адъютанта. Отъ политкома, товарища Громова, вы получите нашу литературу, почитайте, узнаете нашу программу, идею и, держу пари, вы станете нашимъ, коммунистомъ. И еще какимъ! Въдь вы еще такъ молоды, такъ молоды...—повторилъ покровительственно, многообъщающимъ тономъ комполка. Онъ всталъ. Поднялся и я.

Баринъ-шахтеръ посмотрѣлъ на часы, конечно золотые, и сказалъ, улыбнувшись своей доброй, чарующей улыбкой:

— Допросъ оконченъ. Передайте мое приглашеніе къ обѣду вашему бывшему ротному товарищу Васюкову. Вы, какъ мой личный адъютантъ, конечно, съ сегодняшняго дня обѣдаете со мною...

— Но не опаздывайте,—уже у дверей замѣтилъ мой начальникъ:—ровно въ 17 часовъ. Сейчасъ такое горячее время и работы у меня прямо по горло... Пока... Сегодня вы въ отпуску и займетесь своимъ новымъ помѣщеніемъ. А завтра—за большевицкую работу,—закончилъ онъ шутивымъ, тономъ, стараясь, навѣрное, своимъ этимъ тономъ и улыбкой показать, что не такъ, молъ, чортъ страшенъ, какъ его малюютъ.

Такъ началась моя новая жизнь, жизнь подъ краснымъ знаменемъ...

* * *

— Первый митингъ.. Какъ сейчасъ вижу трибуну, затянутую краснымъ кумачомъ. Тутъ и начдивъ, и комполка, и политкомы, и стройныя

колонны красноармейцевъ, пополненные вчерашними врагами трудового народа „кадетами“...

Грянулъ оркестръ и мощно, какъ бы наступая, какъ рокоть морского прибоя, полились звуки интернаціонала, пролетарскаго гимна, все дробящаго, все разрушающаго:

„Весь міръ насилья мы разрушимъ
До основанья, а затѣмъ
Мы нашъ, мы новый міръ построимъ:
Кто былъ ничѣмъ—тотъ станетъ всѣмъ...“

О, эти звуки сатанинскаго гимна! Какая въ нихъ неотразимая, непередаваемая словами красота разрушенія, какая роковая неизбежность, какая мощь!..

Стоишь и чувствуешь себя не человѣкомъ, а маленькой, маленькой букашкой. И кажется: вотъ идутъ какія-то чудовища, въ такихъ же чудовищныхъ размѣровъ сапогахъ и... захотятъ — помилуютъ, не наступятъ на тебя, не обратятъ вниманія, а захотятъ — раздавятъ, какъ давятъ не стоящее вниманія насѣкомое. И не уйти, не отворотить ничѣмъ этотъ гигантскій сапогъ.

Такъ, по крайней мѣрѣ, тогда, на митингѣ мнѣ думалось.

Кто-то незримый, какой-то сверхчеловѣкъ, всесильный физически и безстрашный въ этихъ звукахъ, диктуетъ свою волю... И не приказываетъ, это будетъ не точное опредѣленіе, а давить, гнететь..

Вставай! и больше никакихъ разговоровъ, А не съ нами, такъ противъ насъ — спѣта твоя пѣсня.

Вы возразите: „а развѣ не красочны и не

сильны аккорды нашего гимна „Боже, Царя храни?!“

Да, большая мощь и въ музыкѣ: „царствуй на страхъ врагамъ“, но въ звукахъ нашего гимна вы чувствуете массовый, народный экстазъ и, какъ всякій экстазъ, непостоянный, могущій потухнуть. Красота въ молитвенномъ экстазѣ...

„Боже, Царя храни“ есть истинно народный и нашъ чисто русскій гимнъ. Мы скоро загораемся и скоро остываемъ...

„Это будетъ послѣдній и рѣшительный бой“, пророчить оркестръ, и на трибуну поднимается дивизионный политкомъ.

— Товарищи! — зычнымъ баритономъ понеслось съ трибуны. — Мы сегодня празднуемъ полную побѣду надъ старымъ режимомъ, мы и т. д. и т. д.

Со свойственной коммунистамъ темпераментностью политкомъ объяснялъ новымъ красноармейцамъ свою партійную программу и яркими, сочными мазками рисовалъ будущую жизнь обездоленныхъ нынѣ рабочихъ и крестьянъ въ новомъ социалистическомъ отечествѣ.

Не буду повторять весь этотъ бредъ больного человѣка — всѣ теперь знаютъ большевицкія истины и коммунистическій рай.

За часъ своей рѣчи онъ перестроилъ всю жизнь. Выросли гиганты, цеховые склады, тресты, комбинаты и рабочіе городки съ чистыми и свѣтлыми квартирами... Волнуется зелено-желтое море коллективныхъ посѣвовъ—гигантскія народные и государственныя имѣнія; цвѣтушіе сады, пчелиныя хозяйства. Поля изрѣзаны осушитель-

ными каналами, сады и палисадники возлѣ домовъ общежитія, искусно разбитыя дорожки, то изъ битаго ^{изъ} кирпича, то асфальтированныя, то изъ цементнаго раствора.

Въ горахъ проложены такія же замѣчательныя дороги, какъ всюду, и тамъ, гдѣ были лишь сакли туземцевъ, сейчасъ красноармейцамъ рисовались красивые и богатые народные дома отдыха и лѣченія.

Солнце спускается долу... Вотъ ужъ слышна и пѣсня возвращающихся съ работы коммунальныхъ земледѣльцевъ. Но пѣсня новая, о новомъ. Нѣтъ въ этой пѣснѣ ни тоски по волѣ, ни грусти безысходной, ни дикаго разгула безшабашнаго, ни вихря удалыхъ налетовъ на врага. Ужъ не проклинаетъ бродяга свою судьбу по дикимъ, забайкальскимъ степямъ, ужъ не плачутъ Марусеньки по любимымъ.

Въ новой пѣснѣ поется о солнцѣ, о красотѣ, о человѣкѣ-богѣ.

Пѣсня кончилась. Потухло солнце. Въ коммунальномъ городкѣ - имѣнни зажглись тысячи свѣчей электричества, загремѣла музыка новыхъ танцевъ-гимнастикъ, танцевъ здоровья.

Новый человѣкъ приступаетъ къ отдыху...

Какъ не наградить такого мага-волшебника дружнымъ ура! И толпа, когда онъ кончилъ свою рѣчь, дѣйствительно отъ сердца завопила ура на тысячи ладовъ.

Дивизія была захвачена той сказочной картиной, тою жизнью, которая ихъ, людей отъ сохи и станка ожидаетъ.

Политкомъ кончилъ и:

— „если громъ великій грянетъ
Надъ сворой псовъ и палачей,
Для насъ все такъ же солнце станетъ
Сіять огнемъ своихъ лучей —...

пѣла мѣдъ кларнетъ-а-пистоновъ и басовъ гимнъ солнцу и теплу, пѣли новую пѣснь о новомъ, какъ бы этимъ подчеркивая свою солидарность съ ораторомъ, какъ бы вѣря во все то, что онъ говорилъ.

На трибуну поднялся другой, отъ бѣлыхъ, — такъ, по крайней мѣрѣ, онъ представился — съ отвѣтной рѣчью.

„О, Боже! Хотя бы скорѣй все это кончилось, — взмолился я Тому, въ Кого со смертью отца не вѣрилъ и о Которомъ не вспоминалъ. Грудь болѣла все сильнѣй и сильнѣй. Кашлянулъ — кровь. Вотъ тебѣ контузія, подумалъ. — Но дѣлать нечего, надо было стоять до конца. А потомъ — будь, что будетъ, пойду къ доктору и все ему изложу. Не подыхать же вѣдь. А онъ, кажется, свой“, — размышлялъ я и забылъ про оратора и про митингъ, про всѣхъ.

— Товарищъ Власовъ, вы не находите, какъ это замѣчательно: вчерашній нашъ врагъ, а какъ говорить? — спрашиваетъ меня командиръ, нарушая ходъ моего личнаго мышленія.

— О, да! — отозвался я. Пришлось слушать вчерашняго, можетъ быть полковника-момента, такъ быстро, втеченіе недѣли постигшаго и свою „ошибочность“ и истину коммунизма.

— Красная армія, — говорилъ онъ, — есть тотъ

вѣрный и надежный корабль, который приведетъ человечество къ коммунизму, къ братству всѣхъ народовъ. И мы, вчерашніе бѣлые, если не можемъ быть на этомъ кораблѣ сейчасъ дѣльными стойкими матросами, то будемъ хотя бы пассажирами, терпѣливыми и послушными.

— Вѣрьте,—заманивалъ онъ: — пусть мы въ пути еще встрѣтимъ и бури и подводные камни, мы все-же достигнемъ поставленной цѣли, т. к. корабль ведетъ мудрый капитанъ (этотъ комплиментъ былъ, навѣрное, по адресу Троцкаго) и безстрашные, закаленные матросы...

— Это будетъ послѣдній и рѣшительный бой,—загремѣли оркестры, запѣли комиссары, комсоставъ, загудѣла на разные голоса рабочекрестьянская армія.

Слава Богу, митингъ и парадъ окончились.

* * *

— Докторъ оказался дѣйствительно своимъ (сдался вмѣстѣ съ колчаковцами) и къ тому же душевнымъ и отзывчивымъ человекомъ.

Правда, въ прошломъ онъ былъ какимъ-то социалистомъ, но это отъ него не отнимало его личного, добраго „я“.

— Да, да... Васъ надо положить въ околodокъ. Болѣзнь не опасная—видно кое-что лопнуло, произошло внутреннее маленькое кровоизліяніе въ легкомъ, но, если не лечиться—возможень туберкулезъ.

— Вы вотъ что сдѣлайте,—послѣ нѣкотораго раздумья сказалъ докторъ:—Возьмите лошадь и отправьтесь покататься. Тамъ, въ дорогѣ, васъ лошадь понесетъ, вы сорветесь съ нея, разобье-

тесѣ и явитесѣ въ околѣдокѣ больнымъ челоѣкомъ. Этотѣ ходѣ съ одной стороны еще разѣ посвидѣтельствуетѣ, что вы не строевикѣ, а главное даѣтѣ мнѣ возможность васѣ лѣчить не какѣ бѣлаго. Хотя всѣ они и прикидываютѣ овечками, но я ихѣ знаю хорошо. Да и вы ихѣ позже тоже узнаете. Только будьте осторожны...

Черезѣ нѣсколько дней я лежалѣ въ околѣдкѣ въ компрессахѣ, съ повязками, т. к. для того, чтобѣ лучше симулировать „катастрофу“, пришлось острыми камнями исцарапать и руки и физиономию.

Койя недоумѣвалѣ. Онѣ никакѣ не могѣ примиритѣся съ мыслью, чтобѣ меня, офицера и, безусловно, казака, (въ этомѣ онѣ не сомнѣвался) могла бы сбросить лошадѣ. Подозрѣвать же симуляцію онѣ не могѣ—не видѣлъ къ этому основанія.

— Непостижимо, непонятно! — „Однако онѣ васѣ здорово раздѣлалѣ“,—говорилѣ командирѣ, посѣщая меня въ околѣдкѣ и въ его тонѣ такѣ и чувствовалоѣся злорадство, насмѣшка, что, молѣ, и казаки съ лошадей падаютѣ, разбиваютѣся. Видно не одинѣ разѣ и ему пришлось вспахиватѣ землю физиономіей. Этимѣ своимѣ злорадствомѣ онѣ себя выдалѣ съ головой.

— А съ вами, товарищѣ командирѣ, этого никогда не случалоѣся? — язвительно спросилѣ я его однажды, въ послѣднее его посѣщеніе меня въ Новороссійскѣ.

— Ну, намѣ-то и Богѣ велѣлъ, а вотѣ вы... —Онѣ опять сталѣ смѣяться, — это прямо таки событіе...

— Товарищъ докторъ, когда вы надѣетесь снять компрессы, т. е., когда товарищъ Власовъ будетъ здоровъ?—заботливо спросилъ командиръ, мѣняя тему своего обычного разговора.

— На это трудно сейчасъ отвѣтить. Все будетъ зависѣть отъ хода болѣзни. Лопнули сосуды, кровоизліяніе... Думаю, что недѣли черезъ двѣ будетъ здоровъ, хотя возможны и осложненія, — дипломатично уклонился докторъ отъ отвѣта.

— Видите-ли, докторъ,—продолжалъ Койя:—завтра мы должны грузиться и ѣхать въ Новочеркасскъ.

— Ну и что-жь? Погрузимся. Вѣдь, надѣюсь, у насъ будетъ санитарный вагонъ?

— Да, да...—согласился командиръ и на замѣчаніе доктора, что больному необходимо дать отдыхъ, сказалъ улыбаясь:

— Ухожу, ухожу, докторъ, а то, чего добраго, еще выбросите меня. Итакъ, поправляйтесь товарищъ; до Новочеркасска врядъ ли я съ вами увижусь... Значить,—протянулъ командиръ руку,—до Новочеркасска!

— До Новочеркасска! Всего наилучшаго! —отвѣтилъ я своему довольно странному опекуну и пожалъ ему руку.

Командиръ ушелъ. Черезъ нѣсколько минутъ ушелъ и докторъ. Я—какое это счастье!—остался снова одинъ, сталъ снова Кипріяновымъ...

* * *

— Новочеркасскъ. Столица Казачьяго Донскаго Войска. Платовъ, Баклановъ, Ермакъ, Калединъ, Назаровъ, Чернецовъ... Вспомнилась исторія далекаго прошлаго—исторія побѣдъ и непо-

сильной героической борьбы и пораженія недавняго вчера. Городъ обезлюдѣлъ, затихъ. Многихъ вырвала изъ жизни коварная и безпощадная чека, другіе погибли отъ тифовъ, остальные либо замолкли, приуныли подъ гнетомъ террора, либо разбѣжались по сосѣднимъ хуторамъ, вѣря въ новыя возстанія, въ надеждѣ на лучшее завтра.

Я сталъ поправляться и изъ околка уже выписался.

Штабъ полка: командиръ, политкомъ, военкомъ, начальникъ хозяйственной части, адъютантъ, докторъ и я помѣстились въ домѣ одной вдовы-полковницы, мужъ которой умеръ еще до революціи. Сынъ ея, есаулъ, погибъ гдѣ-то подъ Ригой въ нѣмецкую войну, а двухъ дочерей увезли съ собой мужья ихъ.

Домъ былъ большой и по барски обставленный. Портреты предковъ въ военныхъ мундирахъ, картины маневровъ и конныхъ атакъ, портретъ мужа и сына, 2 пики, прикрѣпленныя къ ковра на стѣнѣ въ видѣ большого знака умноженія, на верхнихъ точкахъ которыхъ прибиты сотенные флажки Лейбъ-Гвардіи Коннаго Казачьяго полка.

Милая старушка! Съ какой любовью относилась она къ казачьимъ былинамъ, къ казачьей исторіи, къ ея старинѣ.

Какъ пріятно было сидѣть съ нею въ ея комнатѣ и слушать ея интереснѣйшіе рассказы изъ сказки прошлаго

Тутъ я впервые познакомился съ литературнымъ творчествомъ генерала Краснова, нашего атамана; перечитывалъ по нѣсколько разъ его „Казаковъ въ Абиссиніи“ и „Амазонку“.

Мое „начальство“ держалось съ достоинствомъ и къ старушкѣ относилось съ большимъ вниманіемъ и любезностью, стараясь, видимо, подчеркнуть, что, хотя, молъ, мы и изъ рабочей среды, но тѣмъ не менѣе не хуже и васъ, обитателей этого роскошнаго дома.

Удивительно, какъ обстановка облагораживаетъ человѣка.

Я настолько отошелъ мыслію отъ кошмарныхъ дней Новороссійска, что даже сталъ забывать, что нахожусь въ Красномъ станѣ. Казалось, что все осталось по прежнему, что классовой вражды не существуетъ болѣе. Но это только казалось, такъ какъ все время сидѣлъ я дома, въ обществѣ старинныхъ портретовъ и штаба, людей, которые въ душѣ и въ поступкахъ играли роль баръ. Да и порасправиться то здѣсь было не съ кѣмъ. Ужъ не съ этой ли одинокой вдовой или же съ бездушными гордыми портретами?

Вскорѣ и я увидѣлъ „классовыхъ враговъ“ — буржуевъ и буржуекъ, вскорѣ и я лично познакомился съ чека и ея издѣвательствами.

Былъ устроень „воскресникъ“, день чистоты, день уборки города. вмѣсто молитвы и отдыха — униженіе, ненависть, оскорбленія.

Вывели, помню, въ назначенный районъ, выѣхалъ и обозъ нашъ для погрузки мусора. Постояли, постояли и повели полкъ обратно по квартирамъ. Не оказалось ни лопатъ, ни метелокъ, ни вилъ. Ничего не сдѣлали.

Но зато и мы, и солдаты-красноармейцы увидѣли другую картину.

Мы увидѣли, какъ подъ конвоемъ чеки шли

священники, старушки-барыни, чиновный людъ, тоже большей частью старички, съ метелками и лопатами очищать улицы, постоялые дворы, базары отъ мусора, очищать отхожія мѣста.

Мы видѣли, какъ молоденькія дѣвушки-гимназистки и курсистки шли въ казармы мыть солдатамъ полы и шли въ формахъ своихъ, такъ какъ другого подходящаго для этой работы костюма не имѣли.

Мыть полы это было бы еще ничего. Не для этого чека сгоняла молоденькихъ дѣвушекъ въ солдатскія казармы. Мытьё половъ было лишь только предлогомъ.

— Товарищъ-командиръ!—обращаюсь къ своему латышу Койѣ.—Какъ вы можете смотрѣть на все это равнодушно, безучастно? Какъ можно допустить подобныя издѣвательства и звѣрства?!

— Дорогой товарищъ,—улыбаясь и покачивая укоризненно головой, отвѣтилъ командиръ,—да вѣдь это же революція! Неужели же вы до сихъ поръ ничего не поняли и не понимаете? Всѣ эти милые господа, которыхъ вы видѣли, и эти прелестныя созданія, которыхъ погнали въ казармы, суть наши враги. Вчера они, да и вы, товарищъ, были властью и поступали, навѣрное, не лучше насъ. Теперь власть—мы и вотъ вамъ обратное. Конечно, это не борьба, а низость, но надо же кое-что дать и нашимъ товарищамъ-солдатамъ. Для того, чтобы быть у власти, мы должны разжигать и поддерживать классовую борьбу. Если мы покончимъ съ буржуями окончательно, то мы должны будемъ ихъ выдумать и снова сѣять раздоръ. Не станеть буржуевъ—сол-

даты должны будутъ возстать противъ насъ, противъ новыхъ буржуевъ. Ибо мы власть, а слѣдовательно и буржуи.

— Но я увѣренъ, — замѣтилъ командиръ, — пока товарищи наши разжуютъ въ чемъ тутъ секретъ, мы будемъ уже настолько сильны, а всѣ остальные настолько ничтожны, что борьба съ нами станетъ немыслима. Но это я вамъ говорю по секрету, какъ другу. Я вѣдь знаю, кто вы, я знаю, вы — врагъ нашъ, но вы мнѣ нравитесь.

— А съ другой стороны, я убѣжденъ, что послѣ этого откровеннаго разговора, вы станете инымъ человѣкомъ. Вѣдь власть есть власть. Цвѣта же, которыми она прикрывается, красный или бѣлый — это дымная завѣса для другихъ, кто не съ властью. Теперь же оставимъ этотъ разговоръ и пойдемъ обѣдать. Вѣдь вамъ надо усиленно питаться. Не такъ ли? — закончилъ латышъ, добродушно посмѣиваясь.

Съ тяжелой душой возвращался я къ нашей полковницѣ.

А еще тяжелѣе мнѣ было за обѣдомъ, въ присутствіи такихъ жестокихъ, съ такою нечеловѣческию, холодною логикою людей...

Вспомнилъ митингъ въ Новороссійскѣ и рѣчь дивизіоннаго военкома...

— Слова, слова, гдѣ ваша прелесть? — сказалъ я въ отвѣтъ своимъ мыслямъ.

Командиръ уловилъ мою мысль и добавилъ:

— Да, слово — богъ. Учитесь, товарищъ, говорить красочно и убѣдительно. Это въ наши дни сильнѣйшее оружіе. И вы будете на вершинахъ власти.

— Къ чорту!—вспылилъ я, не выдержаль:— власть, власть и власть! Только и знаете. А стоитъ ли вообще жить ради одной только власти? Достойно ли это человѣка?

Я всталъ и ушелъ въ свою комнату. Легъ отдохнуть, но было не до отдыха. Я болѣлъ душою за народъ, который обманываютъ, который ведутъ къ кабалѣ, къ новому, еще горшему рабству, чѣмъ было даже при барщинѣ.

Я хотѣлъ крикнуть, кричать, кричать, чтобъ эхо раздалось во всѣхъ концахъ и уголкахъ русской земли:

— Опомнись, народъ русскій! Тебя ведутъ къ ярму, надъ тобой и надъ твоей ребяческой вѣрой въ свѣтлое издѣваются. Тебѣ лгутъ, тебя убаюкиваютъ несбыточной сказкой. Опомнись, пока не поздно!..

Но: что я могъ сдѣлать? Я былъ еще такъ молодъ, я былъ безсиленъ. Не мнѣ было измѣнить этотъ хитрый, дьявольскій ходъ.

Пусть я бы крикнулъ. Пусть прозвучало бы это, быть можетъ, въ лѣсахъ, въ камышахъ, разнесло бы вѣтромъ по широкой казачьей степи, но русскій народъ меня не услышалъ бы, а если и услышалъ бы, то не повѣрилъ бы. Этому въ то время не вѣрили и самъ русскій народъ разстрѣливалъ подобныхъ пророковъ.

Русскій народъ — великій фантазеръ и мистикъ. Онъ вѣритъ всегда во что-то несбыточное, въ непонятное для него самого, въ грандіознѣйшій мифъ. Русскій народъ—большой, большой ребенокъ. Быть можетъ гений?!—Загадка...

Жить подъ краснымъ знаменемъ, правда,

хоть и много для меня сулившимъ, мнѣ становилось невмочь.

Не знаю, что на меня подѣйствовало: или болѣзнь моя, или прочный фундаментъ, заложенный въ дѣтствѣ, но во мнѣ снова просыпался человѣкъ съ вѣрой въ чистое, святое, въ свѣтлое. Во мнѣ возродился Богъ, отъ котораго я еще такъ недавно отрекся, который въ Ягорлыцкой не услышалъ моихъ жгучихъ молитвъ...

Прошлое ушло и съ нимъ я примирился. Примирился и съ Богомъ. Въ меня вошелъ Богъ, вошло что-то свѣтлое и я научился видѣть мракъ. И снова, опять душа моя наполнилась страданьемъ.

Но видно мало Бога было во мнѣ, мало было свѣта, чтобы свѣтить другимъ во мракъ. Я рѣшилъ оставить родину, бродящую въ темнотѣ, уйти изъ подъ красныхъ знаменъ.

Въ полку заговорили о войнѣ съ поляками, а черезъ нѣсколько дней полкъ уже грузился въ вагоны.

Да здравствуетъ фронтъ!

Что сулитъ мнѣ западъ? Увижу ли снова родной Новочеркасскъ, родную Россію?!

Отходить поѣздъ... Гремить музыка лживаго интернаціонала... Кричать „ура“ обманутые люди.

Я покидалъ свой край, покидалъ Россію...

* * *

— Тепло было лежать въ фургонѣ, подъ майскимъ солнцемъ, на открытой платформѣ. Пріятно было смотрѣть, какъ пробуждается жизнь, какъ все цвѣтеть, зеленѣть, пьянить. Смотрѣть и ни о чемъ не думать.

Не думать о „вчера“, не думать и о „завтра“.
Вѣдь „завтра“ уже рѣшено.

Мелькаютъ телеграфные столбы, ручейки и кусты, убѣгая на востокъ съ запада. Уходятъ туда и деревни съ цвѣтущими садами, съ журавлями-колодцами, съ православными церквями, съ покосившимися плетнями и избами.

Россія остается все дальше и дальше.

* * *

— Бѣлоруссія... Пейзажъ: болота, лѣса и болота. Станція Орша. Дальше поѣзда уже не шли. Дальше—фронтъ, окопы, раненія, смерть...

Такъ думалъ солдатъ покидая вагоны. Выгрузились. Въ какихъ-то деревушкахъ около Лепеля постояли мы нѣсколько дней и пошли. Пошли и пошли. И ночью и днемъ, безъ отдыха, безъ боя. Остановки—только передохнуть, только подкрѣпиться.

— Хотя бы увидеть польскаго солдата, хотя бы одного!—разсуждали „товарищи“, изнуренные въ концѣ переходами, погоней по слѣдамъ.

Хотѣлось боя, окопаться, отдохнуть. Для меня же лично это было единственной возможностью уйти изъ подъ красныхъ знаменъ. А у одного ли у меня было такое желаніе?

Нѣтъ, не у одного! Это потомъ подтвердилось.

Но боя не было. Не было даже минутной перестрѣлки...

* * *

— Теплая, іюньская ночь. Длинной лентой, стуча котелками, штыками и винтовками, спотыкаясь, но все же стараясь идти въ ногу, плетутся

усталые, изнуренные безконечными переходами солдаты.

Мы идемъ вдоль Буга, чтобы на разсвѣтъ вступить въ бой, чтобы встрѣтиться лицомъ къ лицу со смертью, предсмертными муками.

Ноги избиты и устали, а теплое дыханіе ночи такъ и располагаетъ, такъ и клонитъ ко сну.

Дремятъ командиры, качаясь въ сѣдлахъ, но „сытый голоднаго не разумѣть“ — нѣтъ за плечами ихъ выкладки, не давить плечо и проклятая винтовка — почему же имъ не идти?..

Въ рядахъ сначала шопотомъ, потомъ смѣлѣе, громче стали говорить о привалѣ, объ отдыхѣ. Недовольными оказались, какъ и слѣдовало ожидать, коммунисты, хотя и рядовые стрѣлки, но, такъ сказать, имѣющіе право требовать, дерзать. Такъ, навѣрное, они думали, считая себя людьми привилегированными, своими, заслуженными.

— Стой! Приваль!!! — крикнулъ кто-то сзади. Крики докатились до первыхъ рядовъ и полкъ остановился. Солдаты стали усаживаться вдоль дороги около волнующейся ржи, чтобъ хоть немного дать отдыхъ своимъ разбитымъ походами членамъ.

Блеснули огоньки спичекъ, запахло махоркой; сладкая истома и дрема овладѣла людьми... Но не тутъ то было! Не суждено было имъ отдохнуть... Спереди доносился стукъ копытъ приближавшихся всадниковъ. Это былъ командиръ Койя со своимъ конвоемъ.

— Это что?! Бунтовать вздумали! — бросилъ Койя въ солдатскую массу.

— Что, устали?—процѣдилъ онъ язвительно сквозь зубы.—Кто усталъ? Я спрашиваю: кто усталъ?!

Солдаты молчали не подымаясь съ мѣстъ.

— Петровъ! Курчановъ! Сидоровъ! Кошуба! —вызывалъ краскомъ коммунистовъ-солдатъ и говорилъ:

— Товарищи! Вы—коммунисты или бѣлогвардейская сволочь? Кто зачинщики?! Кто бунтари?! Докладывать!!! Или, быть можетъ, вы тоже устали?—Лицо его исказилось дьявольской гримасой и при послѣднемъ словѣ онъ выхватилъ револьверъ.

— Да, мы всѣ устали. И коммунисты, и всѣ остальные товарищи только люди. Мы устали и дальше безъ отдыха не можемъ идти,—отвѣтилъ Кошуба, видно старшій и болѣе рѣшительный изъ остальныхъ.

— Ахъ, вотъ какъ? Вы—люди?—зарычалъ разъяренный комполка и... раздались выстрѣлы...

Нѣтъ, это не въ него стрѣляли. Солдаты, дѣйствительно, не были людьми, а лишь жалкими рабами, ничтожествомъ на нашей абсурдной и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасной планетѣ...

* * *

— Стуча котелками, штыками и винтовками и проклиная въ душѣ весь міръ и свое рожденіе, ужъ не спотыкаясь, а твердой ногой подходилъ полкъ къ польской деревушкѣ, оставивъ далеко позади своихъ недвижныхъ товарищей, объятыхъ вѣчнымъ покоемъ...

А торжествующій дьяволъ—комполка съ сатанинскимъ наслажденіемъ, возбужденно раска-

зываль, объясняль мнѣ, новичку, „избранному“ пассажиру краснаго корабля, сущность коммунизма.

— Да, дорогой товарищъ, коммунизмъ, какъ и капитализмъ, не признаеть въ массахъ личности, человека.

— Человекъ и личность это—мы, сильные, умѣющіе дерзать. А вся людская масса есть винтики машины, дающей намъ все: и удовольствія и блага. Сидоровъ же, Петровъ и Кошуба—наши приказчики, глаза и уши у этой машины. И когда эти глаза начинаютъ измѣнять намъ, ихъ, чтобы изъ-за недосмотра не испортилась машина (каждая машина требуетъ тщательнаго за собой ухода) мы должны эту износившуюся часть выбросить въ ломъ. То, что вы сейчасъ видѣли, не есть смертная казнь, а лишь ремонтъ, смѣна негодныхъ, износившихся частей...

Онъ умолкъ и о чемъ-то задумался, покачиваясь въ англійскомъ сѣдлѣ.

Уже разсвѣтало. Роты разсыпались въ цѣпи, готовясь къ наступленію.

Они уже далеко, далеко. Люди кажутся лишь точками, маленькіе „винтики“ коммуны. И такими же маленькими точками виднѣются люди и съ польской стороны, тоже „винтики“, тоже подобной машины, только имя которой — Капиталь.

Тамъ, вдалекѣ, гдѣ сходятся „винтики“ другъ съ другомъ все ближе. „винтики“, такъ похожіе одинъ на другой, сорвался выстрѣлъ, второй... и загорѣлся бой, такой идиотскій, бессмысленный, непонятный.

А въ прикрытіяхъ, защищенныхъ отъ пуль, наблюдая въ бинокли, стояли два командира двухъ силъ, ведущіе бой за обладаніе человѣческой массы рабовъ... За обладаніе бѣлыми рабами...

И думалъ коммунистъ Койя: „Вотъ еще нѣсколько стычекъ, еще одинъ рѣшительный и ужаснѣйшій бой,—пусть въ этомъ бою погибнетъ полчеловѣчества и земля покроется кровью бѣлыхъ рабовъ до самыхъ стремянъ, до конскаго брюха и... кто былъ ничѣмъ, тотъ станетъ всѣмъ“...

Поляки дрогнули, отступили. Польская армія съ каждымъ днемъ откатывалась все ближе и ближе къ Варшавѣ, къ сердцу польской земли, къ своему маленькому Парижу...

Товарищъ Койя ликовалъ. Приближался рѣшительный бой...

* * *

— „Никто не дастъ намъ избавленья—ни Богъ, ни царь и не герой“,—говорится въ коммунистическомъ гимнѣ.

Кто же ихъ Богъ?..

Никогда не забуду картины дерзкаго вызова Богу и жертвы, отдавшей свою душу за Бога своего.

Польская деревня... Совершенно пустая, покинутая людьми. Крестьяне почти всегда при нашемъ вторженіи убѣгали въ лѣса.

Большой сарай, въ одномъ концѣ котораго еще лежало прошлогоднее сѣно. Поле глинобитный и тщательно выметенный. Въ другомъ концѣ сарая молотилка, сани и какія-то еще хозяйственные крестьянскія орудія.

А въ самомъ углу, на колѣняхъ, сложивъ руки для молитвы, стоялъ старикъ полякъ и что-то шепталъ, молился очевидно. Лицо бритое, какъ у ксендза, и спокойное, какъ озеро въ тихій, безвѣтренный часъ.

Объ этомъ старикѣ, объ этой незабвенной картинѣ торжества великаго дужа и вѣры я долженъ разсказать подробнѣе.

Конвойцы - коммунисты сообщили сатанѣ-командиру объ интересной находкѣ и въ глазахъ его блеснули злые, дьявольскіе огоньки.

— Любопытно! Весьма любопытно... Посмотримъ, какъ силенъ его Богъ,—сказалъ, усмѣхаясь, командиръ. — За мной! Если въ комъ-либо изъ васъ еще и теплится вѣра въ этотъ абсурдъ, въ эту поповскую выдумку, то сейчасъ ея не станетъ. Ха, ха, ха... Богъ... Вы увидите сейчасъ, какъ этотъ старикъ будетъ валяться въ ногахъ у меня и его богомъ стану одинъ только я...

Мы вошли въ сарай, старческая фигура неподвижно бѣлѣлась въ его глубинѣ.

— Ну, дѣдъ, что ты здѣсь дѣлаешь? Маткѣ Бозскей молишься? Ха, ха, ха...

Старикъ не отвѣчалъ и не оборачивался къ намъ.

Какъ бы никого не замѣчая, онъ продолжалъ молиться въ томъ же положеніи.

— Тамъ, куда ты молишься, только глупство, ничего нѣтъ. А богъ твой сегодня я. Мнѣ молись и ты будешь спасенъ, будешь жить, а не поклонишься мнѣ, такъ убью и твой Богъ тебѣ не поможетъ. Ну, молись же мнѣ!!!—уже въ бѣшенствѣ крикнулъ командиръ.

Напрасно старался переводчикъ объяснить старику весь страшный смыслъ предъявленныхъ ему требованій и угрозъ—старикъ былъ невозмутимъ и губы его по прежнему шептали: Матка Бозска! Матка Бозска!..

Большевикъ взбѣсился окончательно. Выхвативъ шашку у одного изъ конвойцевъ, онъ подошелъ къ старику вплотную и, занеся надъ спокойнымъ старческимъ лицомъ блестящій клинокъ, зарычалъ:

— Молись же мнѣ, подлая тварь!.. — Лицо коммуниста побагровѣло и перекопилось отъ злости.

По бритому, ксендзовскому лицу старика скатилась слеза, но выраженіе стало еще болѣе яснымъ и спокойнымъ.

— Матка Бозска!—съ хрипомъ въ послѣдній разъ вырвалось изъ старческой груди, и молящійся распластался подъ ударомъ шашки безбожника...

На глинобитномъ полу лежало истекающее кровью тѣло мученика, а подлѣ стоялъ блѣдный, униженный убійца, —ничтожество. Ничтожество, убившее лишь тѣло и въ трепетъ стоявшее передъ геройской, непобѣдимой душой... Христось и Люциферъ...

Часть третья.

ЗА РУБЕЖОМЪ РОДНОГО КРАЯ.

— Но вотъ, наконецъ, кажется, свобода. Я подъ сѣнью литовскихъ знаменъ. Ужъ не слышу я больше лживыхъ и надменныхъ словъ коммунистическаго гимна, не вижу дерзкаго и вызывающаго лица „товарища“ Койи, не вижу усталыхъ, измученныхъ солдатъ, не слышу предсмертныхъ стоновъ умирающихъ людей.

Нѣманъ... Ковно... Зимняя гавань. Бѣлый двухэтажный домъ, огороженный колючею проволокой. Концентраціонный лагерь. Лагерь новыхъ переживаній, правда, безъ кровавыхъ кошмаровъ, но...

Вотъ объ этомъ „но“ я и расскажу вамъ сейчасъ.

Разсказчикъ погрузился въ воспоминанія и на лицѣ его легла скорбная тѣнь.

— Я пришелъ въ этотъ лагерь физически больнымъ, безъ копы въ карманѣ и съ надломленной душой послѣ пережитого. Я вѣрилъ, что найду здѣсь человѣка, человѣческую любовь и сочувствіе. Я вѣрилъ, что здѣсь отдохну...

Я блуждалъ по длиннымъ и грязнымъ кори-

дорамъ, ходилъ изъ комнаты въ комнату. Но кругомъ, во всѣхъ комнатахъ гудѣли солдатскіе голоса, полные злобы и ненависти. Здѣсь были и красные и бѣлые; здѣсь были сердца полныя мщенія другъ другу за свою самими же ими испорченную жизнь...

Вечерѣло. Въ открытыя лагерныя окна вошли звуки католическаго звона, зовущаго людъ къ вечерней молитвѣ. И вспомнилась мнѣ картина далекаго, счастливаго дѣтства...

И погруженный въ созерцаніе этихъ ушедшихъ въ вѣчность дѣтскихъ дней и инстинктивно удаляясь отъ злобствующихъ солдатскихъ ватагъ, я очутился, не знаю самъ почему, въ лагерной лавкѣ передъ миловиднымъ лицомъ продащицы.

На полкахъ—консервы, ветчина, масло, колбаса, бѣлый хлѣбъ, булки.

„Зачѣмъ пришелъ я сюда? — подумалъ я — вѣдь все это не для меня“.

Ахъ да! Я вспомнилъ. Вѣдь я искалъ чело-вѣка, чуждаго кровавыхъ кошмаровъ, чело-вѣка Солнца, ласкъ и тепла...

— Что вамъ угодно? — заговорило миловидное личико:—Что вы хотѣли бы купить?

— Купить?..—повторилъ я вопросъ продащицы. — Купить я ничего не могу, не имѣю денегъ,—отвѣтилъ я ей:—Ничего не имѣю.

— Но вы могли бы вымѣнять на вещь, — сказала дама, и я замѣтилъ какъ загорѣлись ея хищные глаза. Она смотрѣла на мою грудь, на

маленькій золотой крестикъ, виднѣвшійся изъ-подъ раскрытаго ворота защитной гимнастерки.

— Я не имѣю никакой вещи, за которую могъ бы что-либо получить,—повторилъ я опять продавщицѣ. Я не допускалъ и мысли, чтобъ она могла говорить о моемъ золотомъ крестикѣ, о святой для меня памяти, о моемъ крещеніи и о матери.

Но, какъ ни странно, она говорила именно объ этомъ крестикѣ.

— Ахъ такъ!—сказалъ я взволнованный, — простите, я забылъ. Я не зналъ, что въ христіанской странѣ за это что-либо продается, а въ особенности съѣстное. Нате, возьмите!..

Я швырнулъ крестъ на прилавокъ и получилъ булку, сто граммъ масла и кусочекъ ветчины. И разстался съ крестомъ, вынесеннымъ мной даже изъ-подъ красныхъ, кровавыхъ знаменъ. Я лишился въ этомъ лагерѣ самого дорогого для меня...

* * *

— Такъ началась моя жизнь въ Зарубежьѣ, жизнь полная лишеній, униженія и обидъ. О нихъ, объ этихъ лишеніяхъ, и о томъ, какъ я попалъ изъ Литвы къ вамъ, милые друзья, въ „тридесатое царство“, я говорить не буду.

Скажу лишь одно: „сатана править балъ, люди гибнуть за металлъ“... И какъ тамъ, такъ и едѣсь отсутствуетъ Богъ и Христосъ распинается...

Кругомъ вражда, ненависть и мщеніе. Въ наши дни ненависть достигла своего апогея. И

скоро настанетъ „послѣдній и рѣшительный бой“
Капитала и Коммуны, отрицающихъ Бога, цар-
ство Свѣта, Любовь...

Схватятся они въ послѣдней схваткѣ и по-
гибнуть...

Разсказчикъ умолкъ и послѣ долгаго мол-
чанія произнесъ:

— Да придетъ Царствіе Твое!.. И изъ пепла,
какъ послѣ московскаго пожарища, на мусорѣ и
развалинахъ русскихъ церквей, на костяхъ мил-
ліоновъ разстрѣлянныхъ въ застѣнкахъ чеки и
замученныхъ въ Соловкахъ и Нарымѣ, на крови
погибшихъ въ ратномъ бою, на могилахъ род-
ныхъ алексѣевцевъ возстанетъ Бѣлокаменная
вновь въ новомъ блескѣ и величіи...

Воскреснетъ Христосъ нынѣ распинаемый,
а съ нимъ и страдалецъ-народъ, ненавидимый по-
литиканами Европы и пугающій ихъ своимъ ве-
ликимъ геніемъ, своей непонятной, загадочной
душой, душой Христа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, време-
нами душой Дьявола...

Взойдетъ Солнце яркое, теплое, ласкающее.

И забьетъ въ мірѣ жизнь новыми гигант-
скими ключами...

И забудутся нынѣ модныя слова: кризисъ,
безработица...

(Вѣтъ изъ Россіи!.. „И будетъ новый Римъ,
Римъ третій и послѣдній“!..

— Глѣбъ Петровичъ! Дорогой! Золотко! —

раздались голоса слушателей, перебивъ рассказчика.—А дождемся ли мы этого свѣтлаго дня?..

— Дождемся?..—протяжно и съ ироніей въ голосъ повторилъ Кипріяновъ, — но я поставилъ бы другой и болѣе правильный вопросъ: имѣемъ ли мы право на возвращеніе туда и впустить ли еще туда насъ Новая Россія, достойны ли мы Третьяго Рима?—съ жаромъ заявилъ рассказчикъ и сказалъ:

— На это я вамъ отвѣчу словами поэта:

*) „Въ Россіи звонъ колоколовъ подъ шумъ побѣдъ могучихъ надъ красной нечистью, терзавшей столько лѣтъ. Въ порывѣ мести, взявъ топоръ, и юноша, и дѣдъ, ударомъ мощнымъ отсѣкли главу змѣѣ ползучей. На всѣхъ границахъ русскихъ сталъ кольцомъ дозоръ; среди лѣсовъ, болотъ, среди степей и горъ, чтобъ не проникъ никто, кто не достоинъ, кто не сражался честно, кто не воинъ; кто не летѣлъ на помощь братьямъ птицей; кто не поднялъ въ защиту родины своей руки.

Рабочіе, крестьяне, казаки стоятъ передъ дозоромъ длинной вереницей.

— Ты кто и что несешь?

— Несу я свято идею власти съ батюшкой царемъ, какъ было раньше въ чудное „когда-то“.

— Назадъ. Нельзя. Безъ васъ мы проживемъ!

*) Взято изъ журнала „Казачій Сполохъ“ № 6—7 1925 г.

— А ты?

— Иду съ заморскаго я края. Калужскій я крестьянинъ. Вольской слободы.

— А что несешь?

— Несу два каравая, спасти васъ всѣхъ отъ голода нужды. Тамъ поле я пахаль американскимъ плугомъ; тотъ хлѣбъ косилъ машиною стальной. Пришелъ сюда съ заморскимъ своимъ другомъ, а онъ принесъ въ даръ золото съ собой. Принесъ я опытъ долгихъ испытаній, умѣнье жить и силушку въ груди, все, что позналъ среди своихъ скитаній.—И онъ слышалъ только —

— Проходи!

— А ты?

— Мы всѣ старательно рѣшали, какая власть Россіи будетъ впрокъ. Мы ждали, безъ конца все ждали, когда появится средь партій пророкъ, который возвѣститъ намъ цѣль ученій новыхъ, который скажетъ намъ, какъ надо людямъ жить, какъ славу партіи своей добыть, себя и родину къ ногамъ ея сложить, на братскихъ міръ объединя основахъ. — Съ испугомъ слышитъ онъ укоръ отвѣтныхъ словъ и въ смыслѣ ихъ есть дѣлъ его награда:

— Россіи больше праздныхъ болтуновъ, какъ снѣга прошлогодняго, не надо.

— А ты?

— Рабочій я. Въ странѣ свободы защитникъ власти буду я. Я буду вѣрный ея другъ.

Мечи перекою на мирный новый плугъ. Построю я съ машинами заводы. Я помогу крестьянину и словомъ и работой и буду братомъ съ нимъ навѣки впереди. Одна о родинѣ лишь будетъ мнѣ забота. — И слышитъ онъ въ отвѣтъ короткое

— Иди!

— А вы?

— Мы казаки. Мы въ Африкѣ сражались, гдѣ Атласа царить безжизненная грань. Мы день и ночь безъ перерыва мчались на Донъ, въ Сибирь, на Терекъ и Кубань. Несемъ казачій разумъ Матушкѣ Россіи; готовы кровь пролить до капли изъ груди; готовы дать дѣтей своихъ полки лихіе и плугомъ взбороздить края наши родные.

Имъ слышится въ отвѣтъ:

— И ты, казакъ, иди!

— А вы?

— Мы на землѣ работать не умѣемъ и на заводѣ бить по стали молоткомъ. Но какъ и всѣ, за родину на смерть пойдёмъ. Мы свѣточъ правды вамъ съ собой несемъ и знамя свѣтлое науки вамъ развѣсемъ. Мы здѣсь: ученые, художники, учителя, студенты, священникъ, инженеръ, врачи, интеллигенты, лѣсникъ и агрономъ, и будущій поэтъ.

— Идите всѣ! — имъ слышится въ отвѣтъ "...

.

— А когда раздастся этотъ звонъ уцѣлѣвшихъ тамъ колоколовъ, когда настанетъ великій русскій день, это зависитъ отчасти и отъ насъ, эмигрантовъ, — продолжалъ Глѣбъ Петровичъ. —

„Памятуйте о Россіи!—сказалъ въ предсмертномъ обращеніи Великій князь Николай Николаевичъ,— „И здѣсь, въ изгнаніи, отдайте ей всѣ ваши помыслы, не числа трудовъ, силъ и средствъ на дѣло ея спасенія, ибо безпримѣрно тяжки испытанія и наступаютъ рѣшительные сроки“...

Это завѣщано имъ было тогда, когда глаза его видѣли уже то, чего не дано, къ сожалѣнію, видѣть намъ—здоровымъ, живымъ... Эти слова были сказаны въ день смерти, на смертномъ одрѣ...

Надо работать и работать! Серьезно работать...

А вы, дорогіе друзья, да и колоссальнѣйшее большинство эмиграціи уповаете на какое-то чудо, выискиваете и создаете какія-то фантастическія силы, которыя вмѣсто насъ помогли бы Россіи освободиться отъ интернаціональных захватчиковъ.

Знайте одно—у насъ кругомъ враги: и здѣсь, на Западѣ, и на Дальнемъ Востокѣ...

Всѣ боятся грядущаго гиганта, этого загадочнаго сфинкса—Національной Россіи. И, пользуясь ея настоящимъ положеніемъ, стараются ее все болѣе ослабить, раздѣлить, захватить...

И въ своемъ страхѣ передъ русскимъ мужикомъ-богоносцемъ, въ страхѣ ложномъ, я бы сказалъ, и не изъ-за страха даже, а изъ-за жадности проклятой, Европа дошла до такого абсурда, что заключаетъ пакты съ коммунистами. Этимъ она уже затянула петлю на своей собственной шеѣ; немного, и она, какъ высохшее, подгнившее

дерево упадетъ на костеръ, въ пламя европейской братоубійственной войны...

Итакъ, больше вѣры въ себя и всѣ помыслы и взоры туда—къ своему народу.

Всѣ препятствія и трудности должны лишь закалять, должны заставлять относиться къ нашему дѣлу съ чувствомъ большей отвѣтственности.

Эмиграція должна стать средою, рождающей героевъ и ихъ поддерживающей, питающей... А они уже знаютъ свой путь, путь...

Фраза оборвалась незаконченной. Въ гостиную вошелъ молодой человѣкъ и, извинившись передъ хозяевами, обратился къ рассказчику.

— Глѣбъ Петровичъ! Вернулись изъ Россіи!..

— Простите!—извинился Кипріяновъ передъ слушателями и съ холоднымъ, невозмутимымъ выраженіемъ лица спросилъ молодого человѣка:

— Кто? Третья эмиграція? *)

— Нѣтъ, наши. Изъ румынской группы,—былъ отвѣтъ принесшаго новости.

— Ну и что? Удачно?...

— Сорвалось... Разстрѣляно съ десятокъ командировъ красныхъ полковъ. Но въ общемъ дѣло идетъ... Настроenie въ частяхъ для Коммуны тревожное... Народъ ждетъ только лишь войны!..

— Понимаю... А нашихъ много легло?

— Изъ румынской группы—17. Отъ остальныхъ группъ свѣдѣній не поступило...

— Приготовьте директивы бросить на Кремль еще одиннадцатую партію. Бросить немедленно!..

*) Первая—революціонеры боровшіеся съ царскимъ режимомъ
Вторая—бѣжавшіе отъ революціи
Третья—бѣгущіе изъ С. С. С. Р.

— Глѣбъ Петровичъ! А какъ со средствами?.. Вѣдь денегъ осталось всего на три партіи еще!..

— Деньги?—чуть усмѣхнувшись переспросилъ Кипріяновъ.

Усмѣхнуться-то онъ усмѣхнулся, но этотъ смѣхъ, эта усмѣшка скорѣе была маской, скрывающей его душевную боль и страданія изъ-за этихъ „проклятыхъ“ монетъ.

Холодное его лицо подернулось уничтожающей, злобной гримасой хищника и онъ язвительно процѣдилъ:

— Деньги намъ дастъ эмиграція, неспособная идти туда... Дадутъ и иностранцы, хотя... Ну, а если намъ не дадутъ, то мы ихъ возьмемъ, достанемъ сами. Вѣдь это легче чѣмъ работать „тамъ“... Итакъ, иди, Коля, и дѣйствуй!..

Молодой человѣкъ откланялся и направился къ выходу.

— Коля, обожди! Я тоже иду!..

— Простите, господа!.. Иду работать. Переживаемый нами моментъ не терпитъ разговоровъ, пустословія. Да я и кончилъ по правдѣ сказать... До свиданія!.. Надѣюсь, вы теперь знаете, что надо дѣлать, для чего мы живемъ въ Зарубежѣ... До свиданія!..

Разсказчикъ и молодой человѣкъ вышли. Повѣствованіе окнчено...

* * *

Уже сегодня полетятъ шифрованные директивы касательно одиннадцатой партіи. А черезъ

нѣсколько дней границы русскія перейдутъ новыя бойцы.

Вы слышите?..

Слышите, или нѣтъ?..

Они идутъ за Край Родной!..

Да поможетъ имъ Богъ!..

Да не оставятъ ихъ люди!..

.

К О Н Е Ц Ъ .

Имѣются на складѣ издательства „ШКОЛА ЖИЗНИ“

Книги выпущенныя уже издательствомъ

а) на русскомъ языкѣ :

1. В. Бутлеръ „За что?“ т. I. ч. 1.
2. „ „ „За что?“ т. I. ч. 2.
3. „ „ „По терніямъ житейскимъ“ т. II.
4. „ „ „Въ когтяхъ вампира“ т. III.
5. „ „ „Прошу встать — Судъ идетъ!“ т. IV.
6. „ „ „Возвращеніе человѣческихъ правъ“ т. V
7. С. Лютыкъ „Жизнь — борьба“
8. „ „ „На Западъ“
9. Л. Кормчій „Геній мира“
10. „ „ „Міръ любви“
11. „ „ „Дочь весталки“
12. И. Нолькенъ „Романъ піаниста“
13. „ „ „Быль и быть“
14. И. Диметъ „Наканунъ“
15. Я. Донцовъ (Федоровъ) „Тяжелый крестъ“

б) на литовскомъ языкѣ :

1. V. Butlerio „Už ką?“ t. I. d. 1
2. „ „ „Už ką?“ t. I. d. 2
3. „ „ „Gyvenimo erskėčios“
4. L. Kormčio „Taikos dvasia“

На складѣ имѣются всѣ вышедшія изъ печати книги
С. Р. Минцлова и б. И. ф. Нолькена.

Каталоги, проспекты и книги -высылаются
и доставляются на домъ въ г. Каунасъ безъ осо-
бой доплаты и по первому требованію.

Требуйте во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и кіоскахъ.

Обращайтесь непосредственно въ центральный складъ
изданія „ШКОЛА ЖИЗНИ“ по адресу Lietuva, Kaunas,
Pasto dežute 309. V. Butleriui.

Готовится къ печати очередная новинка

В. Бутлеръ „ДОЛГЪ, ЧЕСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ“

Романъ изъ русской общественной жизни
— дореволюціоннаго времени. —

Условія затребованія и высылки издательствомъ „ШКОЛА ЖИЗНИ“ книгъ.

Книги высылаются только за наличный расчетъ, по ихъ продажной стоимости, безъ какой либо особой доплаты за пересылку и доставку на домъ въ г. Каунасъ.

При желаніи получить книги наложеннымъ платежомъ по почтѣ — за наложенный платежъ уплачиваетъ покупатель.

Учащіеся и служащіе въ учрежденіяхъ, при полученіи книжекъ изъ центрального склада издательства, получаютъ скидку съ продажной цѣны 10%. Допускается разсрочка платежа.

Издательство „ШКОЛА ЖИЗНИ“ предлагаетъ читателямъ имѣть свой текущій счетъ въ издательствѣ. На текущій счетъ вносится въ предѣлахъ Литвы десять (10) литъ, а изъ другихъ странъ 2 амер. доллара.

Всякая новинка въ изданіи „ШКОЛА ЖИЗНИ“ будетъ немедленно высылаться и доставляться на домъ абоненту по выходѣ ея въ свѣтъ, безъ какой либо доплаты за доставку.

Къ книгамъ, высланнымъ абонентамъ, будутъ прилагаться особые талоны на право полученія бесплатной преміи. Абонентъ, представившій десять очередныхъ талоновъ, получаетъ въ премію одну изъ книгъ, имѣющихся на складѣ издательства, по выбору.

Всѣ заказы абонентовъ на книги издательство выполняетъ по стоимости книгъ, безъ какихъ либо доплатъ за выписку этихъ книгъ и доставку ихъ заказчикамъ на домъ.

Съ требованіями обращаться: LIETUVA. KAUNAS.
Past. dež. № 309. V. Butleriui.



2005010681

